

**ЛИТЕРАТУРНЫЙ СБОРНИК
РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ**

Выпуск 1

Электронное издание
Интернет-ресурс "Die Geschichte der Wolgadeutschen"

E-mail: sakut@mail.ru

<http://www.wolgadeutsche.net/>

= Die Geschichte der Wolgadeutschen =

Неофициальный сайт поволжских немцев
<http://www.wolgadeutsche.net/>

**RUSSLANDDEUTSCHE
LITERATURSAMMLUNG**

Ausgabe 1

2009

**ЛИТЕРАТУРНЫЙ
СБОРНИК
РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ**

Выпуск 1

2009

Литературный сборник российских немцев.
Электронное издание. Выпуск 1-й. 2009. 128 с.

Литературный сборник содержит редкие, мало или вообще никогда не переиздававшиеся произведения российских немецких авторов 19 – начала 20 вв. и призван познакомить читателя с литературным творчеством российских немцев.

В 1-й выпуск сборника вошла историческая повесть Йозефа Крушинского «Стефан Хайндель», впервые опубликованная в журнале «Klemens» в 1899-1900 гг.

Предисловие к 1-му выпуску

На протяжении многих десятилетий бóльшая часть художественных произведений российских немцев, написанных авторами до 1917 года, была и остается недоступной широкому читателю. Замалчивание истории российских немцев, гласно и негласно установившееся в СССР после 1941 года, обратило эту часть их литературного творчества в ещё большее небытие. В конце 1980-х, в 1990-е и последующие годы, когда, сначала в СССР, а затем в России, стали много писать о российских немцах, эта тема, однако, так и не нашла своего должного отражения. Выпуская этот сборник, авторский коллектив Интернет-ресурса «Die Geschichte der Wolgadeutschen» надеется хоть в какой-то мере устранить эту несправедливость и познакомить публику с литературным творчеством российских немцев дореволюционного периода. Не все произведения, написанные авторами в охватываемый период, являются образцами высокохудожественного слова. Но с точки зрения истории литературного творчества российских немцев это очень ценный материал. Каждая работа по своему интересна и оригинальна. Произведения, отбираемые нами для сборника, были опубликованы в своё время в изданиях, ставших сегодня библиографической редкостью. Большинство из них издавались малыми тиражами и дошли до наших дней в единственном экземпляре. Именно таким является историческая повесть Йозефа Крушинского «Стефан Хайндель», вошедшая в первый выпуск электронного издания литературного сборника.

Hieronymus
(Joseph Kruschinsky)

Stephan Heindel

Geschichtliche Erzählung aus der ersten Zeit
der deutschen Ansiedler an der Wolga

Публикуется по:
«Klemens», 1899/1900 (3-й год издания), № № 10-23.

Йозеф Крушинский

Йозеф (Иосиф Петрович) **Крушинский** (1865-1940) был видным деятелем католической церкви в России. Место его рождения - неизвестно. Учился же он в Саратове, в Тираспольской римско-католической духовной семинарии, и в 1889 году, после её окончания, был возведен в сан римско-католического священника. Отец Крушинский долгое время осуществлял свою деятельность в Поволжье. Много лет он прослужил священником в селе Ровное (Зельман), где под его руководством в 1902 году была построена новая каменная церковь, к сожалению не сохранившаяся до наших дней. Затем, в течение нескольких лет, он был священником в Мариентале. На протяжении всей своей жизни Йозеф Крушинский предстает перед нами как деятельная и незаурядная личность. Взглянув в его послужной список, мы обнаруживаем, что будучи настоятелем прихода, Крушинский, в период с 1900 по 1904 годы, одновременно является деканом в Зельмане. Кроме того, в 1901 году он назначается ректором Саратовской духовной семинарии, в 1903 году избирается официалом Тираспольской консистории, а с мая 1904 года становится генеральным викарием. В 1911 году Крушинский возведён в архидиаконы в соборном капитуле и с этого же времени

назначается председателем консистории. Наряду с этим, в 1911-1918 годах, Крушинский - профессор Саратовской духовной семинарии. Здесь он преподавал нравственное и пастырское богословие, каноническое и гражданское право, литургику и латинский язык.

Революционные события 1917 года были приняты российским обществом неоднозначно. По всей видимости, отношения Крушинского с новой властью не заладились. В конце концов, обстоятельства сложились так, что он был вынужден покинуть Саратов и Поволжье. После этого, мы находим Крушинского на Украине, где в 1922-1932 годах он служил настоятелем прихода в селе Карлсруэ, в Одесской области. В 1924 году Крушинский назначается Апостольским администратором южной части Тираспольской епархии. Его прочат в епископы, но он отказывается от епископской митры. Преследования духовенства со стороны советской власти вынуждают Крушинского дважды - в июне 1928 г. и в мае 1929 г. – предпринять попытку передать свои полномочия Апостольского администратора епископу Александру Фризону. В обоих случаях сделать это ему не удаётся. По всей стране уже шли массовые аресты духовенства. Не обошла сия чаша и отца Крушинского.

Первый его арест последовал в 1932 году в селе Карлсруэ. За «контрреволюционную деятельность» Крушинского приговорили к 3 годам ссылки в Казахстан, в Алма-атинскую область. В 1935 году он заочно проходит по групповому процессу католического духовенства на юге Украины и приговаривается Одесским особым

совещанием к 10 годам исправительных лагерей. В мае 1935 г., находясь в ссылке в Алма-атинской области, Крушинский был повторно арестован. По решению особой тройки НКВД СССР ранее вынесенный ему приговор был заменен на увеличение срока ссылки ещё на 3 года. Ссылку Крушинский продолжал отбывать в Алма-атинской области. Через два года, в начале 1937-го, его перевели в посёлок Талгар под Алма-Атой, где он работал пастухом и продолжал тайно вести свою пастырскую деятельность. Вскоре Крушинского снова арестовывают. Последовал новый приговор. Незадолго до своей смерти Крушинский скромно отметил 50-летний юбилей своей священнической деятельности.

Умер отец Крушинский, находясь в ссылке, 31 июля 1940 года и похоронен в Алма-Ате в одной могиле вместе со своим другом, священником Рафаилом Лораном.

Наряду с деятельностью священнослужителя Крушинский занимался издательской деятельностью. С октября 1897 г. по февраль 1906 г. Крушинский являлся издателем и редактором католического журнала «Klemens». Он - автор многочисленных статей не только религиозного и теологического характера, но и очерков на исторические темы. Например, его перу принадлежит история о башкирском народе («Kurze Geschichte der Baschkiren», Klemens, IV, 1900/01 № 2). Крушинский собрал и опубликовал на страницах журнала «Klemens» материалы о деятельности иезуитского ордена в Поволжье («Die Jesuiten an der Wolga», Klemens, VI, 1902/03, №№ 23-

47). Тогда же Крушинский проявил себя и как писатель. В журнале «Klemens» за 1899/1900 гг. (3-й год издания журнала), в №№ 10-23, была опубликована, написанная им, историческая повесть из прошлого поволжских колоний "Stephan Heindel". Упоминание об этом произведении, хотя и негативное, попало в своё время даже в советскую Литературную энциклопедию, изданную в 1934 году. В Государственном историческом архиве немцев Поволжья в Энгельсе хранится машинопись этого произведения. Свои статьи и литературные произведения Йозеф Крушинский подписывал псевдонимом «Hieronymus» (И[е]ронимус).

Короткое время в 1917 году Й. Крушинский был редактором газеты "Deutsche Stimmen", издававшейся «Народным союзом немецких католиков Поволжья» (Volksverein der deutschen Katholiken an der Wolga).

Александр Шпак
2009 г.

Beim Wirt zum „Goldenen Löwen“, in einem Dorfe in Deutsch-Böhmen, fanden sich gewöhnlich viele Gäste ein. Doch eines Abends war die Zahl so groß, wie nie zuvor. Alle Tische waren besetzt, die Gäste unterhielten sich so laut und mit so gehobener Stimme, dass sie einander manchmal selbst nicht verstanden. „Wäre nur der Konrad Heindel hier, der würde mir gewiss auch beistimmen,“ sagte einer, als der Genannte gerade die Türe öffnete und in den Saal trat. Zuerst hatten die Gäste seinen Eintritt gar nicht bemerkt, als aber der rüstige Mann aus voller Brust guten Abend sagte, wandten sich alle Köpfe nach ihm hin. „Ah! da bist du ja,“ rief der vorige aus, „wenn man den Wolf nennt, kommt er gerennt.“ – „Was, Kaspar, du vergleichst mich doch nicht mit einem Wolfe?“ erwiderte Konrad. „Nein, das nicht, aber wir hatten soeben die Rede von dir, und nun bin ich froh, dass du gekommen bist; denn ich weiß, du wirst meine Seite halten.“ – „Na, was habt ihr denn da Wichtiges?“ fragte Konrad, indem er mit raschem Blick alle Gäste überschaute. „Heh! Was wir da haben?“ setzte Kaspar das Gespräch fort. „Wir schauen in eine rosige Zukunft. Die Tore der Freiheit wollen sich uns öffnen. Wir sind eingeladen, in das „Gelobte Land“ zu ziehen, wo wir es besser haben werden, als hier bei uns die reichsten Edelleute. Ach, wie wird das so herrlich sein!“ Ein schallendes Gelächter unterbrach die

begeisterten Ergüsse Kaspars. „Erkläre dich einmal deutlicher,“ sagte Konrad lächelnd, „wo soll denn das hinaus.“ – „Ja, ja! Man sieht schon, dass du den ganzen Tag in deiner Schmiede hämmerst und um die frappanten Neuigkeiten dich wenig kümmerst. Hast du noch nichts gehört von dem Manifest der Hohen Kaiserin Katharina II. von Russland?“ – „Na, viel noch nicht. Heute war der Berger Niklos bei mir in der Schmiede, und der hat da manches erzählt, das ich aber nicht recht glauben möchte, deshalb bin ich hierher gekommen, um zu erfahren, wie es mit der ganzen Geschichte steht.“ – Das sollst du gleich hören, rief Kaspar, „setze dich erst einmal her und trink eins, dann fährt’s sich besser.“

Konrad war kein Trinker, doch in einer solchen Gesellschaft, wie in der heutigen, da schmeckte es ihm auch nicht übel. Er ließ sich also nicht zweimal dazu einladen, als sein Freund Kaspar ausrief: „Halt! So stumm darf das nicht abgehen. Hoch lebe die Kaiserein von Russland Katharina II!“ – „Hoch! Hoch!“ riefen mehrere. „Ihr seid wohl schon in Russland,“ rief plötzlich Heinrich Hasenschur, „und habet Milch und Honig in Überfluss? Verkauft doch das Bärenfell nicht eher, bis ihr den Brummer selbst getötet habt, sonst könntet ihr euch noch verrechnen.“ – „Ei was, verrechnen!“ schrie Kaspar. „Wer nichts wagt, gewinnt nichts, und hier haben wir nicht einmal viel zu wagen. Schlechter als es uns hier geht, werden wir es dort auch nicht haben. Meinst du nicht auch so, Konrad?“ Heindel war kaltblütiger Natur. Er ließ sich nicht sobald zu unüberlegten Handlungen hinreißen. Hatte er aber einmal etwas für gut oder vorteilhaft erkannt,

dann war aber auch nichts imstande, ihn davon abzubringen. Das wusste Kaspar nur zu gut, deshalb suchte er ihm jetzt ein langes und breites vorzumachen von all den Vorrechten und Vergünstigungen, die die Kaiserin jenen zusichere, die sich entschießen würden, ihrem Rufe zu folgen. Konrad hörte ruhig zu. Als Kaspar mit seiner langen Auseinandersetzung fertig war, kratzte Heindel sich auf dem Kopfe und sagte: „Ganz gut. Habt ihr euch denn auch schon die Frage gestellt, warum die Kaiserin deutsche Ansiedler wünscht?“ – „Nun, das ist doch klar,“ rief Kaspar aus voller Überzeugung, „sie ist ja eine Deutsche und will nun auch Deutsche in ihrem ausgedehnten Reiche haben. Seit zwei Jahren ist sie ja Alleinherrscherin, und kaum saß sie auf dem Throne, da gedachte sie auch schon unser.“ – „Dass sie Deutsche haben will, das unterliegt ja keinem Zweifel“ erwiderte Konrad; „das habe ich auch nicht gefragt. Etwas anderes ist es – warum?“ – „Hm! Warum?“ brummte Kaspar, „nicht jedes Warum hat seine Antwort.“ Ein heiteres Gelächter bedeckte diese Worte. Ein jeder machte seine stechende Bemerkung. „Hasenschur wird es wohl wissen,“ rief einer. „Recht, Hasenschur, erklär’ uns doch einmal die Geschichte.“ Heinrich hatte die Gewohnheit, bei jeder längeren Auseinandersetzung stets zu stehen und einen Gegenstand in Händen zu haben. Er erhob sich nun schnell, ergriff ein Glas und begann: „Ihr Männer! Aus den vielen und großen Vergünstigungen, welche die Kaiserin den Einwanderern verspricht, muss man doch schließen, dass sie von den neuen Ansiedlern große Vorteile erwartet. Welches können diese sein? Keine andere, als ihrem Reiche mehr innere Sicherheit zu verschaffen. Im Süden und

im Norden hat dasselbe sehr unzuverlässige Nachbarn, die nicht anders gebändigt werden können, als dass man ihnen das Land Schritt für Schritt unzugänglich macht. Ist das einmal geschehen, so wird der Wohlstand der Russen sich bessern, und die Deutschen sollen ihnen als Musterwirte dienen. Der Plan scheint mir ganz gut ausgedacht, und wäre ich in denselben Schuhen, wie der Kaspar, so würde ich keine weitere Bedenken tragen, meine Heimat zu verlassen.“ – „So recht, so recht,“ rief Kaspar siegesbewusst, „wir arme Schlucker müssen diese Gelegenheit benützen, um auch einmal auf die Füße zu kommen. Konrad, schlag' ein! Wir ziehen. Nicht war?“ – „Ja, wir ziehen“ sagte Konrad nachdrucksvoll. „Aber ich muss erst mit meiner Frau darüber sprechen. Mit Frau und fünf Kindern zieht's sich nicht so leicht.“ – „Guckt mol doh,“ platzte Kaspar heraus, „was der seiner Frau für Rechte einräumt. Gelt, von der soll es abhängen, ob du ziehst oder nicht? Bist du wohl unter ihrem Pantoffel? Da sollte meine es mal wagen, mir zu widersprechen; Bimmer und bummer! Feuer müsste ihr aus den Augen spritzen,“ dabei schlug er so heftig auf den Tisch, dass es klingerte und klapperte, als ob die Gläser alle in Stücke gegangen wären. „Komm der Ehre meiner Frau nicht zu nahe,“ drohte Konrad, „meine Ehegatte besitzt Verstand genug, um in schwierigen Fällen Rat zu erteilen. Und wenn es bei dir nicht so ist, dann hat entweder deine Frau zu wenig, oder du zuviel. Doch darüber wollen wir jetzt nicht rechten. Trinken wir vielmehr Bruderschaft. Also wer zieht, stoße an!“ Im Nu waren die gefüllten Gläser vom Tische verschwunden, so dass Konrad etwas verblüfft fragte: „Ziehen wir wohl alle?“

– „Alle!“ riefen die Umstehenden laut, setzten aber stille hinzu „nicht.“ Nun hatte Konrad genug gehört. Ihn zog es jetzt nach Hause. Kein Einreden seiner Trinkgenossen konnte ihn länger im Wirtshause zurückhalten. Auf dem Heimwege tauchten in seiner Einbildungskraft schon allerlei Reisebilder auf. Je mehr er sich hineindachte, desto fester wurde sein Entschluss, zu ziehen. Es schien ihm jetzt kaum noch notwendig, seine Frau darüber zu befragen; denn ihre Weigerung würde ihn doch nicht von seinem Vorhaben abbringen können. Was muss das für ein herrliches Leben sein, seinen eigenen Herrn zu spielen. Wie sauer erwarb er sich in seiner gegenwärtigen Lage jedes Stück Brot. Die Familie wurde immer größer, die Auslagen stiegen Jahr für Jahr, wogegen der Verdienst nicht ebenbürtigen Schritt halten wollte. Obwohl nicht an Feldarbeiten gewöhnt, so dachte er doch, dabei auf keine Schwierigkeiten zu stoßen, verstand doch der Kaspar davon noch weniger als er. Sich so den Gedanken hingebend, war er unbemerkt vor seiner Haustüre angelangt. „Wir ziehen!“ rief er ins Zimmer eintretend. „Wer zieht? Wohin?“ fragte seine Frau erstaunt. „Wir, ich, du und unsere ganze Familie nach Russland,“ antwortete Konrad begeistert, „soeben habe ich im „Goldenen Löwen“ vernommen, welche Vorteile wir haben werden, wenn wir in das Land der Freiheit gehen. Das Soldatenjoch wird niemals auf den Nacken unserer Kinder und ihrer Nachkommen gelegt werden. Land haben wir im Überfluss in Aussicht, da können wir uns tüchtig emporarbeiten und einmal selbständige Leute werden und nicht immer von anderen abhängen, wie jetzt. Haben wir Arbeit in der Schmiede, so haben wir was zu leben, fehlt es

aber an ersterer, so müssen wir uns oft mit hungrigem Magen zu Bette legen. Das bin ich endlich satt.“ – „Ganz gut,“ unterbrach ihn die Frau, „aber hast du auch schon daran gedacht, dass wir in Russland, oder, wie du sagst, im „Lande der Freiheit,“ vielleicht noch mehr hungern werden als hier? Mit deinem Handwerk wirst du ohnehin nicht viel verdienen, und mit der Bauerei wird es sicher auch sehr schief gehen; denn wir haben ja schon einmal damit angefangen und sind tüchtig hineingefallen. Glaubst du, dass es uns dort besser gelingen wird?“ - „Na, gewiss,“ erwiderte Konrad überzeugt, „denke doch, wie viel Land und auch was für Land wir dort haben werden. Es wird schon gehen, und wenn wir einmal dort sind, dann muss es biegen oder brechen, also abgemacht: wir ziehen. Morgen lasse ich mich bei dem Werber anmelden, dann bringen wir unsere Habseligkeiten unter den Hammer und gesellen uns zu den anderen, die ihr Glück außer ihrer Heimat suchen. Was haben wir hier noch Gutes? S i e b e n Jahre hat der Kanonendonner uns in Schrecken gehalten. Waren wir denn unseres Lebens sicher? Schien es nicht, als ob die Franzosen, Österreicher, Preußen, Russen und Schweden nur da seien, um sich einander umzubringen? In Sachsen, Westfalen, Hessen, Pommern und noch anders wo, wie viel Dörfer sind da in Aschenhausen verwandelt? Wie viel Wirtschaften vernichtet? Ist es nicht schauderhaft, dass über die Hälfte aller Einwohner Berlins, an 30.000 Menschen, nur vom Almosen ihr Leben fristen? Liegen die Felder nicht noch brach? Besitzt man Pferde, um sie zu bearbeiten? Hat man Samen? Fehlt es in manchen Gegenden nicht sogar an Männern? Auf den Schlachtfeldern haben sie ihr Leben

ausgehaucht, und dadurch sind ihre Nachkommen ins Unglück geraten. Für nichts und wieder nichts sind 700.000¹⁾ Menschen vom Erdboden vertilgt worden, sollte man da noch Luft haben, hier zu bleiben?“ – „Was hast du nur vor,“ fiel die Frau ein, „meinst du denn hinter den Bergen könne das nicht geschehen? Übrigens ist der Friede bereits abgeschlossen.“²⁾ – „Das ist allerdings wahr. Aber sage selber, wirst du nicht froh sein, wenn Stephan und Martin das Soldatenalter werden erreicht haben, und dann nicht fort müssen. Siehst du diesen Vorteil nicht ein? Denn kannst du nur in der neuen Heimat erreichen.“ – „Nun wir wollen sehen,“ sagte die Frau, „ob du morgen nicht andere Gedanken haben wirst.“

Konrad hatte die ganze Nacht hindurch keine Ruhe. Sobald der Schlummer ihn den Sorgen entrücken wollte, tobte seine Phantasie wie vom Wirbelsturm getrieben und beunruhigte ihn durch die verschiedensten Bilder. Noch nie war er so oft in einer Nacht erwacht wie jetzt. Kaum dämmerte es im Osten, so erhob er sich von seinem Lager, weckte auch Frau und Kinder und traf Verordnungen, um die Sachen zusammenzulegen, welche er versteigern wollte. Die Frau wollte noch nicht daran, aber alle ihre Entgegnungen blieben fruchtlos. Konrad hatte einmal beschlossen zu ziehen, und ließ sich durch keine Vorstellungen von seinem Vorhaben mehr abbringen. Er fand kaum Zeit, das spärliche Frühstück zu sich zu nehmen, so sehr war er aufs Ziehen versessen. Als er nun

¹⁾ Im einzelnen kamen um im siebenjährigen Krieg von 1756-1763: Preußen 215.000 M., Franzosen 200.000 M., Österreicher 140.000 M., Russen 120.000 M. und Schweden 25.000 M.

²⁾ 15. Februar 1763.

noch eine passende Gelegenheit hatte, sich beim Werber anzuzeigen, da war er überaus froh und zufrieden. Schnell suchte er im Dorfe Käufer auf und brachte sie ins Haus. Seine Frau bat ihn, wenigstens die Antwort vom Werber abzuwarten, er aber wollte davon nichts wissen; denn es bestehe ja kein Zweifel darüber, dass er werde mitziehen dürfen. Eile war aber notwendig, weil die erste Partie in den nächsten Tagen abfahren sollte. Konrad hätte noch an demselben Abend die Reise nach Lübeck, dem Sammlungsorte der Auswanderer, angetreten, allein dazu vermochte er auf keine Weise seine Frau zu bewegen. „Auf solche Reise bereitet man sich vor wie auf den Tod,“ sprach sie gebieterisch, „wir müssen also erst zur hl. Beicht gehen und die hl. Kommunion empfangen; denn wer weiß, ob wir noch einmal das Glück haben werden, dieser großen Gnade teilhaftig zu werden.“ Ihr Mann wollte dagegen seine Ansicht geltend machen, indem ja dort auch Priester sein werden, allein er musste nachdenken, und so sah man in der Kirche am nächsten Morgen die Familie Heindel am Tische des Herrn. Nach der hl. Messe ging es ans Abschiednehmen. Angela, Konrads Frau, war untröstlich. Es schien ihr, als könne sie sich gar nicht von ihren Eltern und Verwandten trennen. Sie weinte die bittersten Tränen, und man musste sie förmlich von ihren Lieben losreißen. Noch ein Blick, und das letzte Lebewohl klang an die Ohren der Eltern und Verwandten.

Die Reise nach Lübeck verlief ohne weitere Zwischenfälle. Konrad kam gerade noch zu rechter Zeit. Nur zwei Tage später, und er hätte zurückbleiben müssen und wäre nie nach Russland gekommen. Angela machte sich die

heftigsten Vorwürfe wegen ihrer vermeintlichen Nachgiebigkeit. Hätte sie länger und fester widerstanden, so wären die zwei Tage verstrichen, und sie hätte dann in ihrer lieben Heimat bleiben können. Nun aber schien alles dahin. Das winzige Vermögen war für einen Spottpreis verschleudert. Die Eltern und Verwandten sollte sie nie mehr sehen. Jedes Plätzchen, an dem teure Erinnerungen aus der lieben Jugend hingen, war ihr auf immer genommen. Wie leicht war es ihr gewesen, frommen Andachtsübungen obzuliegen und auch die Kinder dazu anzuhalten, und in der Fremde – da werde alles, alles fehlen. Ihr ältester Sohn, Stephan, verriet ja bedeutende Fähigkeiten. Sie hatte zwar um das tägliche Brot zu kämpfen, allein es hätte sich ein Wohltäter finden können, der ihrem Sohne das Lehrgeld vorgestreckt haben würde. Stephan wiederholte öfters, was er in der Schule und in den Predigten aus der hl. Schrift gelernt und gehört hatte. Es schien ihr, der Knabe habe Beruf zum geistlichen Stande, ja sie sah ihn sogar im Geiste, im Gärtchen auf- und abgehend, andächtig das Brevier beten. Ach was für ein Glück! „Nein, ich ziehe nicht,“ rief sie zu sich selber, und heiße Tränen rollten aus den rot geweinten Augen über die bleichen Wangen. Das stand fest bei ihr: vor der Abfahrt wolle sie ihrem Manne nochmals Himmel und Hölle vor Augen halten, um ihn zur Umkehr zu bewegen. Ein unerwarteter Umstand machte ihren Entschluss fast unüberwindlich.

Konrad befand sich in gehobener Stimmung. Die vielen Neuigkeiten der Freistadt nahmen seine volle Aufmerksamkeit in Anspruch. Was es da nicht alles zu sehen gab! Er war unwillig über sich selbst, so lange in einem unbekanntem Dörfchen gelebt zu haben, ohne je in einer großen Handelsstadt gewesen zu sein. Neugierig fragte er, wohin denn die vielen Waren transportiert werden sollten, und als er vernahm, dass dieselben nach Dänemark, Schweden, Finnland und Russland gebracht werden, kam sein Geist ins Fahrwasser. Ein angenehmes Gefühl beschlich ihn wenn er sich an jenen Augenblick erinnerte, wo er beschlossen hatte, in das „gelobte Land“ auszuwandern. Soeben hatte er sein Herz einem Reisegefährten gegenüber ausgeschüttet, als er wahrnahm, dass die Auswanderer ein großes Haus betraten. Er erkundigt sich nach der Ursache und erfährt, ein Ordenspriester wolle an die Abreisenden einige Mahnworte richten, damit sie in der Fremde ihrem Glauben nicht untreu werden. Wie ein Blitzstrahl geht es ihm durch den Kopf, wenn Angela auch der Predigt des Ordenspriesters beiwohne, so könnte sie vielleicht von neuem Schwierigkeiten vorbringen. Das muss verhindert werden. Angela darf nicht dorthin gehen. Schnell begibt er sich in seine Wohnung. „Aber, Vater, Ihr bleibt lange aus,“ ruft ihm Stephan entgegen. „Die Mutter ist schon längst fort und hat gesagt, ich und Ihr, wir sollen auch hinkommen.“ – „Wo ist sie hingegangen?“ – „Zur Abschiedspredigt. Kommt nur schnell, sonst verspäten wir noch.“ Als Konrad in den Saal trat, erblickte er Angela und die vier Kinder in den vordersten Reihen. Er überlegte, wie er sie herauslocken könne, doch während er noch Pläne

schmiedete, öffnete sich die Nebentür, und drei Geistliche erschienen im Saal. An Stelle des Geräusches trat Totenstille. Der Redner bestieg einen besonders hergerichteten erhöhten Platz, die anderen zwei Geistlichen hatten sich auf die Lehnstühle an der Wand niedergelassen. Der Ordensmann machte das hl. Kreuzzeichen und begann zu sprechen, anfangs ruhig, dann aber immer erregter bis zur höchsten Ergriffenheit. Er sprach von der Notwendigkeit, in allen Umständen den wahren Glauben zu bewahren, von den Versuchungen gegen denselben und deren Überwindung. Obwohl er annehme, die Zuhörer seien alle fest entschlossen, ihr heiligstes Kleinod zu bewahren, so solle doch niemand zuviel Selbstvertrauen hegen, damit nicht Stolz ihn zum Falle bringe. Lübeck sei auch einstens ganz Katholisch gewesen. 23 Bischöfe haben da ihren Sitz gehabt, bis einige Verführer das alles vernichteten. Dieses Beispiel möge den Zuhörern zur Warnung dienen, jeglichen Glaubensfeind sorgfältig zu fliehen und Spöttern kein Gehör zu schenken. Als immerwährendes Andenken gebe er ihnen auf die Reise die Worte der hl. Schrift mit. „Wer mich vor den Menschen verleugnet, den will auch ich vor meinem Vater verleugnen, der im Himmel ist.“³⁾ Damit aber niemand sich fälschlich einrede, es sei hinreichend, im Herzen den Glauben zu bewahren, ohne ihn auch äußerlich zu bekennen, so mögen sie sich noch an einen anderen Anspruch des hl. Geistes erinnern, nämlich: „Mit dem Herzen glaubt man zur Gerechtigkeit, und mit dem Munde geschieht das Bekenntnis zur Seligkeit.“⁴⁾ Zum Schlusse erteilte er den

³⁾ Matth. 10, 33.

⁴⁾ Röm. 10, 10.

Segen. Die Zeremonie war so ergreifend, dass einer nach dem andern zu schluchzen anfang und schließlich die meisten laut weinten. Mit tränen in den Augen erschien Angela vor Konrad, ergriff dessen Hand, führte ihn hinaus und sagte mit einem Nachdruck, aus dem die äußerste Entschlossenheit hervorleuchtete, zu ihrem Manne: „Wir ziehen nicht, mag's nun kommen, wie es will. Zurück wollen wir in unsere Heimat. Gott wird uns nicht verlassen.“ – „Du hast recht,“ erwiderte Konrad, „Gott wird uns nicht verlassen, also fort wollen wir in die Fremde und uns dort ein neues Heim gründen. Zurück können wir nicht mehr, ohne dem Spotte der Straßenbuben zu verfallen und ohne von allen ausgelacht zu werden.“ Allein Angela war bereit, alles lieber zu ertragen, als sich von dem, was ihr lieb und teuer war, zu trennen. Mochte Konrad mit noch so großer Überzeugungskraft ihr das Gegenteil beweisen, - er predigte tauben Ohren. Das war dem Manne doch etwas zu viel. Mit erregter Stimme sprach er in einem barschen Tone: „Angela, hast du mir nicht vor dem Altare Treue geschworen? Hast du nicht versprochen, mich nicht zu verlassen, bis uns der Tod scheidet? Sag', willst du ziehen oder nicht?“ Lautes Schluchzen erhielt er zur Antwort. Mit beiden Händen verhielt Angela ihr verweintes Angesicht, die Worte hervorstammelnd: „Ach, wenn's dann sein muss, so, Herr, dein Wille geschehe.“ Wie ein Trank kalten Wassers dem Beschmachtenden in der Wüste wohl tut, so angenehm waren dem Manne diese Worte seiner Frau. In allen möglichen süßen Ausdrücken suchte er sie zu trösten und ihr Inneres ins Gleichgewicht zu bringen. Da nun noch Stephan ihr zuredete,

so suchte sie, sich selbst zu überwinden, um das Unvermeidliche erträglicher zu machen. –

Am folgenden Morgen wimmelte es von Menschen im Hafen zu Lübeck. Hunderte hatte die Neugierde dorthin getrieben, Hunderte fanden sich dort ein, um von den Auswanderern Abschied zu nehmen. Es blies günstiger Wind. Die Segel wurden gespannt, und das Schiff in die Ostsee hineingesteuert. Im Hafen und auf dem Schiffe wurde mit den Hüten geschwenkt und mit Tüchern gewedelt. Die Umrisse der Stadt verschwanden immer mehr und mehr, bis schließlich das Auge auch das letzte schwarze Stückchen verlor. Tausend siebenhundert vierundsechzig schrieb man, als die Deutschen den Hafen in Lübeck verließen, um in reiche der Kaiserin Katharina II. ein neues Heim aufzusuchen. – Für die meisten Auswanderer war die Fahrt auf dem Meere etwas Neues, und so lange kein Sturm wütete, auch etwas Angenehmes. Mehr als die anderen war Konrad Heindel fröhlich gestimmt. Vor allem suchte er mit seinen Reisegefährten bekannt zu werden. Er begrüßte einen nach dem anderen, fragte um den Namen, die Herkunft und den Stand. Nicht wenig Genugtuung wurde ihm dadurch zu teil, dass unter den Auswanderern die meisten Handwerker waren oder wenigstens doch nicht von Profession dem Bauernstande angehörten. Schneider, Schuster, Schreiner, Müller, ausgediente Soldaten, bankrottierte Händler, abenteuerlustige Unternehmer bildeten die Mehrzahl. Hinter diesen, meinte Konrad, werde er doch sicher nicht zurückbleiben, war er doch einige Jahre in der Bauerei gewesen und somit derselben nicht ganz unkundig. Diese Trostgründe suchte er auch seiner

Frau klar auseinanderzusetzen. Die Gesellschaft unterhielt sich sehr lebhaft. Luftschlosser aller Art wurden in Menge gebaut. Ein ernster Beobachter hätte all die geschmiedeten Pläne für reine Träumereien gehalten.

Am zweiten Tage der Fahrt bemerkten die Passagiere ein auffallendes Hin- und Herlaufen der Schiffsleute. Der Kapitän schien ernster als sonst und erteilte verschiedene Befehle. Konrad hätte gerne die Ursache der Emsigkeit erfahren und wandte sich deshalb, höflichst um Aufklärung bittend, an den Kapitän. „Sturm in Sicht.“ War die lakonische Antwort. „Wird doch nicht gefährlich werden?“ fragte Heindel weiter. „Hoffentlich nicht,“ rief ihm der Kapitän im Weitergehen zu und befahl, einige Ballen weiter zu rücken, damit das Gleichgewicht des Schiffes nicht im mindesten gestört werde. Das Unwetter trat bald darauf ein. Der Horizont wurde düsterer, der Wind reißender, die Wellen spieen schneeweißen Schaum. Von rechts nach links wiegend, hob und senkte sich das Schiff, so dass die Passagiere wie Betrunkene hin- und hertaumelten. „Was fehlt dir?“ fragte Konrad besorgt, als er in das bleiche Gesicht Angelas schaute. „Mir wird“ ... weiter kam sie nicht, denn der Magen hatte den Dienst der Zunge übernommen und durch die Tat jegliche weitere Erklärung überflüssig gemacht. Das bleiche Gespenst war aber mit einem Opfer nicht zufrieden. Es hüpfte von einem zum anderen, um sich seinen Tribut zu erzwingen. Dadurch entstand unter den Reisenden große Aufregung, die den Siedepunkt erreichte, als jemand die Vermutung aussprach, man habe wahrscheinlich ihre Speise vergiftet. Wie von einer angezündeten Pulverschnur fortgetrieben, floh diese Vermutung von Mund

zu Mund und steigerte die Krankheit um so mehr, als sie den Gemütszustand der Leidenden in Traurigkeit versenkte. „Glaubt doch die Dummheit nicht,“ ließ sich da eine Männerstimme hören. Konrad und Angela schauten sich um und sahen einen Mann, dessen stattliche Haltung und imponierender Blick einen Militärsmann verrieten. „Die glaub’ ich auch nicht, aber wie erklärt sich die ganze Geschichte da?“ fragte Konrad, mit der Hand nach den Kranken zeigend. „Nun die Seekrankheit hat einen Schabernack gespielt und weiter nichts.“ – „Ist sie nicht gefährlich?“ – „Durchaus nicht.“ – „Was für ein Mittel gibt es dagegen?“ – „Wind und Meeresstille, sonst keines.“ – „Haben Sie dieselbe schon erlebt?“ – „Mehr als einmal bei meinen Reisen auf dem Mittelländischen und Adriatischen Meere.“ – „Sie sind doch nicht gar ein Schiffskapitän?“ – „Nein, ich bin ein österreichischer Offizier, mein Name ist Platen. Die Strahlen meines Glücksternes fallen in das Land der Wölfe und Füchse, wohin auch euch der Schimmer lockt, daher seid mir willkommen, Freunde!“ Das lebhaftes Temperament des Offiziers hatte den Niedergeschlagenen wieder Mut eingepumpt. Es entspann sich ein heiteres Gespräch, das den unheimlichen Saft aus der Gesellschaft vertrieb. Jedoch während der sechswöchentlichen Reise kehrte er noch einige Mal zurück und ließ sich nicht mehr so leicht hinausstoßen, da seine Opfer wegen daher Mangel an Nahrung bedeutend geschwächt waren. Froh waren daher die Auswanderer, als man ihnen in der Nähe Häuser zeigte mit der Erklärung, das sei Oranienbaum, wo sie rasten werden. Gleich nach der Ankunft stürmten alle vom Schiff, um sich an

dem Gefühl, festes Land unter den Füßen zu haben, ergötzen zu können. Vierzig Tage wurden zum Ausruhen und zur Stärkung der Gesundheit gewählt und dann ging es wieder weiter auf dem Wasser nach Petersburg. Platen schrieb in sein Tagebuch:

„Sechs Wochen mussten wir die Wasserfahrt ausstehen,
Angst, Elend, Hunger und Not täglich vor Augen sehen,
Also dass zuletzt Salzwasser, schimmlich Brot
Zu Lebens Aufwart hat erhalten uns in der großen Not.

Bis diese Glückstadt kam Oranienbaum zu sehen,
Da tät ein jeder mit Freuden von dem Schiffe gehen.
Quartierten 40 Tage uns in die Häuser ein,
Von da nach Petersburg mussten wir ins Schiff hinein.“

Die Reise ging nun sehr langsam. In der Regierungsstadt war ebenfalls drei Wochen Rast. Den Reisenden wäre das einesteils recht gewesen, wenn ihr Geldsack nicht die Schwindsucht bekommen hätte. Den verabreichten Tagessold drehten sie dreimal in der Hand herum, bevor sie ihn einmal ausgaben, und dennoch reichte er nicht aus, um die unvermeidlichen Bedürfnisse zu befriedigen. Sie waren daher freudig überrascht, als ihnen befohlen wurde, sich „in die Reih“ zu machen und die Sonntagskleider anzuziehen, denn sie sollten der Hohen Kaiserin vorgestellt werden. Doch die Audienz kam nicht zustande.⁵⁾ Die Kaiserin geruhte aber ihren Kolonisten durch einen Beamten mitzuteilen, sie hege die Hoffnung, die Kolonisten werden mit den angewiesenen Plätzen in der romantischen Gegend an der Wolga zufrieden

⁵⁾ Jene Einwanderer, welche die Kaiserin musterte, gehören zu einem späteren Transport.

sein. Ihre Majestät werde alles tun, um ihnen den Anfang so leicht wie möglich zu machen. Ihre Schützlinge seien sicher fleißige Arbeiter und deshalb sei an ein rasches Aufblühen der Kolonien nicht zu zweifeln. Ihrerseits wünsche sie ihnen alles Glück dazu. Ein anhaltendes „Hurra!“ entwand sich den Kehlen der Auswanderer, und neuer Mut kehrte in ihre Herzen ein.

Trotzdem das Tagegeld verringert wurde, so hörte man doch niemand murren. Der Gedanke: wir werden bald an Ort und Stelle sein, wo alle Unbequemlichkeiten aufhören, half über alles hinweg. Platen zog sein Tagebuch hervor und notierte auf:

„Bei dieser Hauptstadt nun täten wir drei Wochen bleiben
Und auf dem Wasser uns im Schiff die Zeit vertreiben.
Dazu bekamen wir zehn Kreuzer in die Hand,
Weil uns drei Groschen des Tages an Abzug war bekannt.

Dies kam mir spanisch vor, weil es doch teuer zu leben,
Mein Geldsack war bedrückt, und keiner wollt' was geben,
Da dacht' ich oft, - das ist ein schlechter Spaß,
Das Geld war all verzehrt und hab' auch keinen Fraß.

Wenn dieses lange währt, wie wird es dir ergehen?
Viel Kranke tät ich auf allen Seiten sehen,
Doch hielt ich Offizier und bat Gott inniglich,
Immer gesund zu sein, das andere findet sich.“

Die Reise wurde nun wieder zu Wasser über Schlüsselburg nach Nowgorod fortgesetzt. Es war schon spät im Herbst. Der Frost trat in seine Rechte. An warmen Winterkleidern fehlte es fast bei einem jeden, daher verlangten

auch die meisten in Nowgorod zu überwintern. Doch die Führer glaubten noch, die Wolga bis Saratow hinunterzukommen, und bestanden darauf, so schnell wie möglich das an der Twerza gelegene Städtchen Torschok zu erreichen. 30 Werst von Nowgorod ging es noch zu Wasser, dann 14 Tage auf dem Lande. Schlechte Nahrung und Kälte wirkten schädlich auf die Reisenden. Viele wurden krank und reisten ins ewige Land. Angela fing von neuen zu klagen an. Alle werden wohl umkommen, ohne die neue Heimat gesehen zu haben. Wozu sie auch nur fortgezogen seien. War es wohl notwendig, nach Russland zu ziehen, um zu verhungern und zu verfrieren? Wer in Deutsch-Böhmen nichts zu essen habe, müsse gerade so gut sterben, wie hier auf dem Wege von Nowgorod nach Torschok. Konrad suchte ihr einzureden, dass alles jammern unnütz sei, ein wenig Geduld sei das beste Zaubermittel.

Nach einem vierzehntägigen qualvollen Marsche atmeten die Reisenden frisch auf. Sie hatten Torschok erreicht und hofften, hier über Winter zu bleiben. Doch wie waren sie enttäuscht, als sie keine Quartiere zubereitet fanden und schnurstracks auf die Barge geführt wurden. Alles Protestieren schien vergeblich. Bei Tagesanbruch sollte es auf der Twerza hinunter nach der Gouvernementsstadt Twer gehen. Da kam den Klagenden die Natur zu Hilfe, denn als man nächsten Morgen die Barge in Bewegung setzen wollte, war sie nicht von der Stelle zu bringen – sie war eingefroren. Wohl oder übel, es musste für Quartiere gesorgt werden. In der Stadt ist es wahrscheinlich unmöglich gewesen, die Reisenden

unterzubringen, deshalb wurden sie in die nächsten Russendörfer verteilt.

Heindel und Platen wurden Nachbarn. Als sie am anderen Tage zusammenkamen, mussten sie schon einander lustige Stückchen zu erzählen und mussten trotz der schlimmen Lage herzlich lachen. „Da haben Sie doch wieder Stoff für Ihr Tagebuch,“ sagte Heindel lachend: „Jahwohl. Wollen Sie vielleicht hören, was ich bereits aufgemerkt habe?“ – „Mit Vergnügen.“ – „Nun also, seit unserer Ankunft in Torschok.“

„Da kamen wir zur Stadt, wo wieder Schiffe lagen,
Hier wollten wir uns all vor Kälte schon beklagen.
Allein, was war zu tun, man musst' zur Bark hinein,
Dieweil noch kein Quartier für uns bestellet sein.

Da rief ein jeder nun, hier tät man uns vexieren,
Doch halt, das Wasser wird in einer Nacht erfrieren.
Und wie das auch geschah, zu Torschok hieß der Ort,
Drum schreib' ich auch mein letztes Wort.“

„Warum das letzte Wort?“ fragte Konrad. „Noch sind wir nicht in unserer Heimat. Setzen Sie nur die Aufzeichnungen fort, das wird auch seinen Nutzen haben.“ Dieser Aufforderung kam Platen fleißig nach.

Konrad Heindels ältester Sohn Stephan liebte es, mit den Russenknaben zu spielen. Anfangs verstanden sie einander nicht, und Stephan wurde böse, wenn sich seine Kameraden über ihn lustig machten. Doch bei seinen Fähigkeiten hatte er bald einige Sätze erlernt. „Papa,“ sagte er eines Tages, „ich weiß schon, wie Stephan russisch heißt.“ –

„Nun wie dann?“ – „Njemoj.“ (немой.) „Woher weißt du das?“ – „Na, so rufen mich immer meine Kameraden.“ Als aber der Winter herum war, und Stephan schon so ziemlich russisch sprach, da wurde es ihm klar, dass seine Kameraden ihn hinters Licht geführt hatten. „Ach ihr,“ – und dann legte er einen kernhaften, russischen Fluch hin – „ihr habt mich für einen Narren gehalten. Njemoj heißt ja stumm. Stepan heiße ich. Der alte Sidor hat es mir gesagt.“ Konrad war über die Fortschritte seines Sohnes in der russischen Sprache froh, nur verbot er ihm strengstens das Fluchen. –

Der Winter schien den Deutschen eine Ewigkeit zu sein. Mehrere hatten die Stadt aufgesucht, um in den Werkstätten etwas zu verdienen. Andere hatten in Herbste auf der Tenne gearbeitet, doch der Verdienst war nur sehr spärlich. Wie wenn ihnen ein Reich geschenkt wäre, so froh waren sie, als der Schnee schmolz, und das Eis aschgrau wurde, um bald darauf in die Wolga zu schwimmen.

Die Reisenden sammelten sich schnell und wollten gleich fort, allein man hielt sie noch zwei Wochen zurück; denn, sagte man, die Wolga sei noch nicht rein von dem Eis und nochmals in Twer einzuquartieren, das sei zu umständlich. Es wurden nicht nur die Tage, sondern sogar die Stunden gezählt. Man sprach nur von der Weiterreise. „Morgen ziehen wir!“ rief Platen dem Konrad zu, als er diesen in seine Wohnung treten sah. „Da will ich Dir noch ein paar von meinen Knüttelversen vorlesen. Jetzt ist das Schwierigste überstanden, und ich denke mit Wohlgefallen an das Vergangene, wie ich früher an die Kriegsstrapazen gedacht habe, wenn ich gesiegt hatte. Also höre:

„Da ich nun diese Zeit sehr vieles ausgestanden,
Ich war auch böß, noch mit Fluchen, Schelten, Banden (?)
Obschon mein Strohquartier sehr traurig tut aussehen,
Doch muss ich mit Geduld dies alles übersehen.

Dieweil ich mich erfreut, die Russen anzuschauen
So mit Verwunderung, wie sie ihr Land bebauen,
Dies wird nicht recht gepflügt, nicht ordentlich besäet,
Und wenn die Früchte reif, auch herzlich schlecht gemäht.

Darum auf manches Land ja wirklich Gottes Segen,
Weil hier an dem Verstand der Bauern sehr gelegen.
Da nehmen sie ein Pferd mit einem kleinen Wäglein
Und legen auf einen Hauf', das muss die ganze Fuhr sein.


.

Als ich das erstemal in mein Quartier getreten,
Da hörte ich alle Russen stark seufzen, stehend beten.
Und waren jung und alt von Herzen sehr betrübt,
Weil man den Kolonisten Quartiere gibt.

Und Batjka sein Gestalt war böse anzuschauen:
Sein haariges Gesicht, das tat einem gar nicht trauen,
Er ging fast völlig nackt, im bloßen Hemd allein,
Und Matschka muss mit ihm stets auf dem Ofen sein.“

Platen hätte noch weiter gelesen, wäre er nicht von einem Lärm auf der Straße gestört worden. Er und Konrad sprangen hinaus und sahen, wie die Deutschen ihr Gepäck aufs Schiff trugen. Eine Menge Neugieriger begleiteten sie. Platen sagte zwar, es sei noch ein halber Tag Zeit bis zur Abreise, allein Stephan ließ sich nicht zurückhalten. Er machte sich auch mit Sack und Pack aufs Schiff, und Platen ging mit ihm.

Es war am Sonntag Nachmittag. Gruppenweise saßen und standen die Russen an der Twerza und sprachen von den Deutschen. Mehrere aus den Dörfern hatten ihre Quartieranten begleitet. Sich einander küssend, murmelten die einen „Spasibo,“ und die anderen wünschten eine glückliche Reise. Die Barge setzte sich in Bewegung, und die Auswanderer sahen Torschok zum letzten Mal. Bis Twer ging es nur langsam. Als sie aber auf die Wolga gekommen waren, dann trieb der Strom schneller. Von Nischnij-Nowgorod an leistete das sich dahinwälzende Hochwasser noch größere Dienste, und ein günstiger Wind bot sich als Gehilfe an. An den Städten wurde nur Halt gemacht, um Proviant zu kaufen, denn die Reisenden hatten Eile. Nur in Saratow weilten sie etwas länger, um über die Ansiedlungsplätze Näheres zu erfahren. Konrad Heindel fuhr noch 90 Werst die Wolga hinunter und ließ sich in Seelmann nieder.

leich nach der Ankunft hielten die Ansiedler Rat, wo sie ihr Dorf gründen könnten. Einige meinten dicht an der Wolga auf der Wiesenseite. Dagegen war Konrad Heindel; denn, sagte er, man möge doch einmal die Wiese sich etwas näher ansehen. Sie sei doch überschwemmt gewesen, wie könne man also da die kleinen hölzernen Häuschen aufrichten. Die Versammlung sah ein, dass Konrad recht hatte und wählte nun einen etwas höher gelegenen Platz, einige Werst von der Wolga, richteten dort ihre Häuschen auf

und benannten ihr Dorf nach dem Familiennamen ihres ersten Dorfschulzen Seelmann.⁶⁾

Die Ansiedler waren mit dem Platze sehr zufrieden. Wald war im Überflusse. Das Wolgawasser fiel noch mehr, und lachendes Grün schoss aus dem Boden. Die erste Saat, das Brot, drei Pferde, eine Kuh, einen Pflug und einen russischen Wagen erhielt jede Familie von der Regierung. Wegen der dadurch entstehenden Kronsschulden machte man sich keine Sorgen, ja manche meinten, es werde auch in Zukunft nicht an Unterstützung fehlen, und wollten nicht aussäen. Nur an die Arbeiten in der Werkstätte gewohnt, schienen ihnen die Feldarbeiten überschwer. Konrad Heindel jedoch ging allen mit dem guten Beispiel voran. Ohne Verzögerung brachte er die Saat unter die Erde; denn es war ja ohnehin spät im Frühjahr, als die Ansiedlung stattfand. Einige tadelten ihn sogar, weil er Weizen gesät habe, der sei, meinten sie, verloren, weil es schon so spät sei. Konrad gab jedoch kurz zur Antwort: „Wer nicht säet, der kann auch nicht ernten,“ und ließ sich in seiner Arbeit nicht stören. Ein warmer Regen tränkte den Boden, und bald war des schwarze Ackerland mit einem grünen Teppich überzogen. Konrad freute sich schon herzlich über die in Aussicht stehende Ernte. „Bist du jetzt nicht froh, dass wir hier sind?“ sprach er zu seiner Frau. „Gott segnet unseren Anfang, und seine milde Hand wird sich auch fürderhin nicht von uns zurückziehen.“ Doch der Mensch denkt, und Gott lenkt. Einiges Tages hatte Konrad tüchtig gearbeitet. Gegend Abend legte er sich ins feuchte, kühle Gras, um ein wenig

⁶⁾ Es wurde auch Choisi, d.h. Auserwählt, genannt.

auszuruhen, schlief aber ein und erwachte erst gegen Morgen. Als er sich erhob, fühlte er, wie ein Frösteln über seinen Körper herunterrunzelte, achtete aber wenig darauf. Es stellte sich jedoch heftige Kopfschmerzen ein. Er streckte und reckte seine Glieder, und es schien ihm, als müsse er dieselben auseinanderreißen, um Ruhe zu bekommen. Am dritten Morgen blieb er schon auf dem Lager liegen, um nie wieder aufzustehen. Alle Bewohner des Dorfes kamen ihn zu besuchen und Angela zu trösten. Nach zwölf Tagen ging es im Dorfe von Mund zu Mund: Konrad Heindel ist gestorben! (1765) Die hitzige Krankheit (Typhus) hatte das Öl in seiner Lebenslampe aufgesetzt. Angela war untröstlich. Jetzt schien es ihr erst recht klar zu werden, warum sie so ungern nach Russland gezogen sei. Was nun anfangen? Zurück? Nicht daran zu denken! Die Bauerei fortsetzen? Keine Möglichkeit! Ihr ältester Sohn Stephan war erst 13 Jahre alt. Nur in dem Gedanken an den allmächtigen Beschützer der Witwen und Waisen fand sie Trost. Den ersten Sommer schlug sie sich durch mit ihren fünf Kindern. Im ganzen Dorfe galt sie als eine verständige, tugendhafte Frau, daher fanden sich bald Gönner, die sie „heimgeführt“ hätten, und unter diesen wurde das Glück Georg Schwarz zu teil. Johannes Ludwig Hord aus Laub heiratete ihre älteste Tochter, und die zweitälteste reichte ihre Hand dem Johannes Schreiber aus Brabander (Kasitzkaja). Stephan, 13 Jahre alt, und sein Bruder Martin, 11 Jahre alt, mussten dienen gehen, da ihr Stiefvater wegen Armut sie nicht unterhalten konnte. So war Angela von ihren Töchtern getrennt. Die eine wohnte in Laub, die andere in Brabander weiter entfernt als jetzt Astrachan von Saratow. Stephan und

Martin blieben in Seelmann. Alle Sonntage besuchten sie ihre Mutter, die sie stets zu einem christlichen Lebenswandel ermahnte. So verging das erste Lustrum.⁷⁾ Die fleißigen Ansiedler hatten ihr gutes Auskommen, jene aber, die geglaubt hatten, ohne Arbeit ein lustiges Leben in der neuen Heimat führen zu können, waren ebenso übel daran, wie in ihrer Vaterlande. Viele wollten sogar in ihre verlassenen Nester zurückkehren, erhielten dazu auch die Erlaubnis, aber nicht die Mittel, und so mussten sie unfreiwillig bleiben, wohin sie freiwillig gegangen waren. Aus dem Auslande kamen immer neue Scharen von Ansiedlern an, die sich teils auf der Wiesen- teils auf der Bergseite niederließen. Es wurden in allem 102 Kolonien gegründet, die in 10 Kreise eingeteilt waren, und zwar auf der Wiesenseite 56 und auf der Bergseite 46 in je 5 Kreisen. Circa 8000 Familien mit einer Gesamtzahl von ungefähr 27000 Seelen suchten sich Plätze in der Wolgagegend, um den unbenutzten Reichtum des Bodens ergiebig auszubeuten. Von den 102 Kolonien waren nur 29 katholisch und zwar 16 auf der Wiesen- und 13 auf der Bergseite. 71 waren lutherisch und 2 gemischt. Wie aber aus den Pfarrbüchern in Kasitzkaja zu ersehen ist, wohnten noch mehrere Katholiken in lutherischen Dörfern. (Bangert, Stahl.) Sämtliche Ansiedler wurden in vier Gruppen geteilt. Zur 1. Gruppe gehörten die Immediaten, d. h. Unmittelbaren, so genannt, weil sie von der Krone ohne Vermittlung angeworben wurden. Unter diesen war auch Konrad Heindel mit seiner Familie. Die 2. Gruppe wurde die Baronischen genannt, weil sie von dem holländischen Auswanderer Baron

⁷⁾ Lustrum – 5 Jahre

Beauregard, dem Gründer Katharinenstadts, geworben wurden. Diese Ansiedler nahmen ihren Sitz am kleinen Karaman. Die Anwerbung der 3. Gruppe geschah durch den Direktor Leroy, infolgedessen die Leroy'schen genannt. Die ließen sich nieder am großen Karaman und am Tarlik. Die 4. Gruppe ging auf die Bergseite. Man nannte sie nach ihrem Direktor Münny – die Münny'schen. Der Unterschied zwischen den unmittelbaren Ansiedlern und den anderen bestand in der Verwaltung. Während die ersteren unmittelbar der Krone unterstanden, waren die genannten Direktoren die Herren der anderen drei Klassen. Die Ansiedler mussten diesen den Zehnten zahlen. Es ist klar, dass letztere Einrichtung genug Stoff zu Unzufriedenheit in sich schloss. Der dadurch entstandene Prozess währte drei Jahre. (1770-1773). Das Ende vom Liede war, dass die Direktoren entfernt und alle Kolonisten der Krone untergeordnet wurden. Nicht so leicht war es für die Regierung, eine andere Angelegenheit in Ordnung zu bringen, nämlich die Empörung der Kasaken unter der Führung des Pugatschew niederzudrücken. Im vorigen Jahrhundert waren die Zustände in Russland ja derart, dass sie Zunder genug zum Aufruhr lieferten.

Mit der Bildung sah es sehr traurig aus. Nicht nur blieben die Kinder der Bauern ohne Unterricht, sondern auch diejenigen der armen Edelleute wuchsen auf, ohne eine Schule oder einen Lehrer gesehen zu haben. Was die Kinder von den Stubenmädchen oder von den Lakaien lernten, darin bestand ihre ganze Ausbildung. Leute von mittlerem Schlage schickten ihre Kinder zu den Glöcknern und Kirchendienern in die Lehre. Wohlhabende Edelleute hielten sich ausländische

Hauslehrer – Franzosen. Doch was waren das für Männer? Alles Gesindel, das in Frankreich kein vorteilhaftes Geschäft mehr treiben konnte, kam nach Russland, um gar keinen Dunst von ihrem Berufe und standen auch in sittlicher Hinsicht auf der niedrigsten Stufe. Das kam in Russland gar nicht in Betracht. Jeder Edelmann war nur darauf bedacht, einen Franzosen als Hauslehrer zu bekommen, ob derselbe auch gebildet oder sittlich war, darnach wurde nicht einmal gefragt. Man hatte nur noch Geschmack für Französisches. Französische Mode war das Ideal, nach dem man strebte. Die ganze Erziehung bestand darin, dass die Kinder alle Griffe in äußeren Benehmen pünktlich erlernten, damit war alles abgetan. Ein sittlicher Halt wurde dem Kindesherzen nicht eingepflanzt, wodurch dem Laster Tür und Tor geöffnet war. Hieraus erklärt sich auch die schauerhafte Hartherzigkeit der russischen Edelleute ihren Leibeigenen gegenüber. Jeder Edelmann wollte nicht nur so genannt werden, sondern sich auch als solchen zeigen. Dazu waren Mittel notwendig, und die mussten beigeschafft werden, sei es durch Mord oder Raub. Die reichen Edelleute plünderten die ärmeren, nahmen ihnen Land ab, wobei es öfters ohne Todschatz, nicht abging. Es galt da das Recht des Stärkeren. Dieser riss die besten Ländereien an sich, und niemand konnte ihm was antun. Wurde ein Beamter zur Untersuchung geschickt, so versperrten ihm eine Menge Bewaffneter den Zutritt, und er musste unverrichteter Sache von dannen gehen. Die Bestechlichkeit der Beamten war eine grenzenlose. Ein Amt oder einen Rang war sehr leicht zu erhalten, wenn jemand nur Geld hatte. Ein mehrfach gerichteter Pächter kaufte sich den

Rang eines Kapitäns für 8000 Rubel. Im Militärkollegium war der Handel mit der Rangordnung im hohen Schwunge. In den Provinzen sah es noch trauriger aus, weil die Verbrechen nicht so leicht ans Licht gebracht werden konnten. Unter den Gouverneuren gab es geradezu Artisten in diesem Stücke. Die Bestechlichkeit war so verbreitet, dass niemand mehr glaubte, es gebe einen Beamten, der ohne Spendage seine Amtspflicht erfülle.

Und jetzt erst die Gräuel der Leibeigenschaft! Der Edelmann hatte eine schrankenlose Gewalt über seine Bauern. In den meisten Fällen ließ das Gesetz keine Klage eines Bauern gegen seinen Herrn zu. Andererseits verlangte die Regierung, dass die Bauern auch ihr in allem gehorchen sollten. Daraus entstand ein Wirrwarr; denn die Forderungen der Edelleute stimmen sehr oft mit denen der Regierung nicht überein. Wollte der arme Bauer seinem Herrn gehorchen, so lief er Gefahr, von der Regierung bestraft zu werden, folgte er aber nicht, so hatte er harte Züchtigungen zu gewärtigen. Der Edelmann missbrauchte manchmal seine Leibeigenen, um auf Raub und Plünderung auszugehen. Wurde dann ein Bote der Gerechtigkeit in seinen Hof geschickt, so verlangte der Edelmann von den Bauern, dass sie sich demselben mit bewaffneter Hand widersetzen. Auf bewegliches Vermögen hatte der Leibeigene kein Eigentumsrecht. Das Vieh gehörte ihm so lange, bis sein Herr es ihm wegnahm. Der Edelmann bestimmte, wie viel Abgaben und welche Frondienste der Leibeigene zu leisten hatte. Das Gesetz schrieb vor, „dem Herrn in allem zu gehorchen, dessen Acker zu pflügen, die Abgaben sowohl an Geld wie auch an Frucht zu entrichten.“

Die Edelleute erfanden immer neue Abgaben, und die Leibeigenen mussten sie zahlen. In den Augen der Tyrannen galt der Leibeigenen nicht als Mensch. Ging es so einem Herrn nicht nach Laune, so ließ er manchmal ganze Dörfer anzünden. Es gab Edelleute, die ihren Bauern auch nicht einen Tag gewährten, um für sich arbeiten zu können. Sie verabreichten ihren Familien monatlich Proviant und verlangten dann ununterbrochene Arbeit. Ihre Untergebenen hießen sie in fremden Wäldern Holz hacken oder auf fremder Wiese das Vieh weiden, und wenn dann die armen Bauern gepfändet wurden, so mussten sie in den Gefängnissen dafür büßen oder noch schwerere Strafen erdulden. Der Edelmann konnte den Bauern zu jeder Zeit zu seiner Arbeit verlangen. Die gesetzlichen Bestimmungen standen bloß auf dem Papier, in der Praxis wusste man nichts davon. Diese unmenschliche Lage trieb den Bauer zur Verzweiflung. Wozu auch noch sparsam sein, wenn der Herr heute oder morgen alles wegnehmen kann? War da nicht besser für ihn, er vertrinkt, was er hat, um so doch wenigstens für den Augenblick das große Elend zu vergessen. Und wenn die Trunksucht seine Lage auch nicht erleichterte, so suchte er dennoch Trost darin. Hieraus erklärt sich zum großen Teil, warum das Laster der Trunksucht so in Fleisch und Blut der Russen übergegangen ist. Bei der Bestrafung der Leibeigenen waren die Herren nur darauf gedacht, die Schmerzen womöglich zu vermehren. Nicht nur Männer, sondern auch Frauen fanden ihr Vergnügen daran, ihre Untergebenen mit Ruten schrecklich hauen zu lassen. Die Fürstin Koslowskaja ließ ihre Bauern entkleiden und in ihrer Gegenwart mit den Ruten peitschen,

wobei sie die Rutenhiebe kaltblütig zählte und den Diener aufforderte härter zuzuschlagen. Sie ließ manchmal ihren Diener nackt an einen Pfosten binden und hetzte die Hunde auf ihn oder ließ ihn von Frauen durchpeitschen, dabei kam es auch vor, dass sie in ihrer Wut selber ergriff und drauf losschlug. Ein Fräulein ließ 80 Frauenpersonen deshalb die Ruten geben, weil sie ihr keine Erdbeeren gesammelt hatten. Ein Edelmann ließ einem seiner Leibeigenen die Sohlen mit feurigen Kohlen brennen, weil derselbe zwei Herrenhündchen ertränkt hatte. Von einem ordentlichen Verhältnisse zwischen Dienstherr und seinen Leibeigenen konnte also selbstverständlich nicht die Rede sein. Kein Funken Liebe verkittete beide, vielmehr herrschte alleine die Furcht. Die russische Geistlichkeit war auch nicht im Stande, die traurige Lage auf bessere Bahnen zu bringen. Die Landgeistlichkeit unterschied sich wenig von den Bauern. Beinahe die Hälfte konnte weder lesen noch schreiben. Wurden ihnen die Eidbogen zum Unterschreiben vorgelegt, so ließen sie andere für sich unterschreiben aus dem Grunde, weil der „Pope an den Augen leide.“ („Поп очами скорбен.“) Dieser Ausdruck wurde allgemein, um die Schwächen der Geistlichkeit zu verdecken. Den Gottesdienst verrichteten sie vom Hören. Bestraft wurden die Priester wie jeder aus dem Volke. Letzteres musste daher jegliche Achtung von der Geistlichkeit verlieren, wenn es sah, dass die Priester ebenso mit Ruten gepeitscht wurden, wie ein gemeiner Bauer.⁸⁾

⁸⁾ Quellenmäßig zusammengestellte Beweise für all das Gefügte sind zu finden in dem Werke: „Н. Дубровин, Пугачев и его сообщники“ том. 1., стр. 273-373.

Man vergegenwärtigte sich nun all die schlimmen Folgen dieser traurigen Zustände, dann wird man glauben, einen allgemeinen Seufzer des Volkes nach Befreiung von dem so großen Übel zu vernehmen. Es ist somit klar, dass eine ungeheuere Gehrung unter dem Volke entstehen musste, als die Nachricht sich verbreitete, der Kaiser Peter III. sei nicht tot, er lebe und werde sein Volk befreien. Schon vier Taugenichtse vor Pugatschew hatten sich diesen Titel beigelegt, keinem von ihnen gelang es jedoch denselben so auszunützen, wie dem donischen Kosaken. Pugatschew schlug sich zu den unzufriedenen Kosaken am Flusse Jaik (Ural), die ihn als ihren Führer ausriefen. Im Jahre 1773 war sein Anhang so groß, dass er seinen Raubzug beginnen konnte. Obwohl wiederholt geschlagen, gab er sein Vorhaben dennoch nicht auf. Unter dem Namen Kaiser Peter III. ging er mit einem bedeutenden Anhang am 18. Juli 1774 bei Kasan über die Wolga. Auf der Bergseite entstand eine ungeheure Verwirrung. Pugatschew erhielt massenweise Zuwachs. Die Leibeigenen schlossen sich ihm an. Die Edelleute suchten sich durch die Flucht zu retten der Pöbel fing sie jedoch auf und brachte sie zu Pugatschew. Von diesem hatten sie keine Barmherzigkeit zu erwarten: er ließ sie hängen. Pugatschew verhiess dem Pöbel Freiheit und Ausrottung der Edelleute, was ihn sehr populär machte. Es hieß, der Empörer werde auf Moskau losziehen, doch er schlug einen anderen Weg ein. Er zog die Wolga hinunter. Das Volk empfing ihn mit Salz und Brot. Wer ihm nicht zuschwören wollte, der fand seinen Tod durch den Strang. In Jadrinsk schwuren ihm sogar Offiziere zu. In den unterworfenen Städten hielt sich Pugatschew nicht

lange auf, weil ihm Mellin und Michelsohn auf der Ferse waren, und er sich durch die Flucht nach Persien retten wollte. Am 5. August d. J. erschien Pugatschew vor Saratow. Er hatte an 3000 Bewaffnete, die anderen 10000 waren ein gemeiner Pöbelhaufen. Boschnjak, der tapfere Wojewode von Saratow, tat sein Mögliches, allein der Verrat vieler Verteidiger machte es unmöglich, die Stadt vor dem Empörer zu schützen. Pugatschew ließ die Edelleute aufhängen und verbot, ihre Leichname zu begraben. Nach einer provisorisch eingesetzten Regierung verlies er am 9. August Saratow und zog gegen Kamyschin. Am 14. August kam Michelsohn nach Saratow. Er und Muffel suchten Pugatschew einzuholen. In der ganzen Umgegend weit und breit sprach man nur von Pugatschew. Die Schlechten priesen ihn hoch, weil sie einmal nach Herzenslust rauben, plündern und saufen konnten, die Guten dagegen lebten in Furcht und Schrecken; denn ein sicherer Tod war ihnen gewiss, wofern sie dem Empörer nicht zuschworen, was sie mit ihrem Gewissen doch nicht vereinigen konnten. –

Es war Sonntags, den 10. August, um die Vesperzeit. In Seelmann standen Männer und Burschen haufenweise zusammen und stritten sich darüber, ob Pugatschew auch nach Seelmann kommen werde oder nicht. Da der Räuber die Bergseite hinunterzog, so waren die meisten der Ansicht, er werde die Wiesenseite in Ruhe lassen. Stephan Heindel, Konrads Sohn, ein rüstiger Jüngling von 22 Jahren, machte gegen diese Ansicht seine Bedenken geltend. „Ihr Männer, ich will euch mal was sagen,“ hob er an. „Pugatschew selber wird sicher nicht hierher kommen, den er muss doch bei seinen

Soldaten bleiben, allein habt ihr nicht von den Flüchtlingen gehört, dass er alles mögliche Gesindel im Gefolge führe? Diese Blutegel lassen keine Haut verschont, und es ist sehr leicht möglich, dass sie auch uns aufsuchen werden. Meine Meinung wäre nun: Die Frauen, Kinder und auch die furchtsamen Männer ziehen schnell hinaus ins Feld. Dort sind sie vor den Räubern sicher. Die Mutigen bleiben hier. Seid ihr nicht damit einverstanden?“ Vielen gefiel der Plan, mehrere jedoch meinten, es sei ja noch keine Not, man könnte noch abwarten. So stritten sich die Seelmänner noch eine ganze Stunde herum, als von Hölzel ein Reiter im vollen Galopp dahergesaut kam. Man ahnte nichts Gutes. Einige liefen ihm entgegen und riefen: „Was ist? Was ist?“ – „Pugatschew ist da. Raub, Mord, Plünderung!“ – „Wo denn? Der Hund ist doch auf der Bergseite?“ – „Jawohl, aber seine Räuber sind hier.“ Der Reiter war so erregt, dass er gar nicht die richtigen Worte finden konnte, um zu erzählen, was er das erste sagen wollte. „Wir sind alle verloren,“ begann er endlich. „In Warenburg verlangten die Diebe, der Vorsteher und noch sieben Männer sollten dem Empörer die Treue schwören. Das taten die nicht, und deshalb haben die Räuber die sieben Mann am Tore aufgehängt. Du heilige Mutter Gottes, steh uns bei! Rette uns und unsere Frauen und Kinder!“ Wie wenn ein Donnerschlag in die Männer gefahren wäre, so standen sie vor Schrecken da. Weinend und um Hilfe rufend, wie wenn Feuer ausgebrochen wäre, liefen sie auseinander. Die Straßen füllten sich mit Frauen und Kindern, von denen die einen die anderen im Weinen und Jammern zu überbieten suchten. Nach ungefähr einer Stunde kam ein ganzer Schwarm von Kosakengesindel

in Seelmann an. Sie trieben die Leute wie eine Herde Vieh zusammen und verlangten unbedingten Gehorsam. Durch Worte und Geberden gaben sie zu verstehen, dass sie schnell fort wollten und stießen und hieben nach rechts und links. Stephan wehrte sich wie ein Löwe. Er hatte sogar einen Kosaken vom Pferde geworfen und glaubte schon aufzusetzen und entfliehen zu können, als vier starke Arme sich um seinen Nacken legten und ihn zu Boden drückten. Wie er sich auch anstrenge, es war alles vergebens. Er war allein gegen drei. Als er sah, dass jeder Widerstand umsonst sei und ihm sogar das Leben kosten könnte, so sagte er wegwerfend: „Nun so lasst mich los! Ich werde euch folgen.“ – „Versuchst du aber zu fliehen, so bist du ein Kind des Todes,“ drohte ihm einer von seinen Feinden. „Willst du aber freiwillig in den Dienst unseres Kaisers treten, so hast du hohe Ehrenstellen zu erwarten. Du bist jung und stark, verscherze also nicht dein Glück. Willst du? Die Natur des Stephan bäumte sich vor Zorn, das die Schurken ihm eine solche Niederträchtigkeit zumuteten, doch, um sich nicht unnötigen Peinen auszusetzen, gab er zur Antwort: „Nun gut. Ich will erst euren Kaiser sehen. Führt mich zu ihm!“ Sie ließen ihn frei, schoben ihn zum Haufen und trieben denselben vor sich her. In der Wiese blieben sie über Nacht. Einige bewachten die Gefangenen, andere raubten und plünderten im Dorfe Lebensmittel. Früh morgens ging es weiter. Alle Kähne und Böte, die sie an der Wolga fanden, wurden mitgenommen. Ungefähr Solotoje gegenüber setzten sie über die Wolga, um sich der Hauptschar anzuschließen. War das eine bunte Menschenmenge! Tataren, Russen, Baschkiren, Kalmücken,

Jasatschen, Deutsche – ein Mischmasch, wie wenn Pugatschew der nach Europa ziehende Xerxes gewesen wäre. Mit der größten Eile suchte Pugadtschew Dmitriewsk⁹⁾ zu erreichen. Dort setzte sich ihm der Major Diez entgegen, verlor aber die Schlacht und sein Leben. Der Empörer nahm nun rasch noch Dubowka ein, wo er in einem Hause weilte, das heute noch steht,¹⁰⁾ und ging dann auf Zarizyn los. Zweimal versuchte es Pugatschew, die Stadt einzunehmen, aber der Saratower Woewoda Boschnjak schlug ihn jedes Mal mit Verlust zurück. Da aber Pugatschew erfuhr, dass der gefürchtete Oberst Michelsohn in der Nähe sei, so gab er die Belagerung auf und nahm Reißaus. Am 25. August holte Michelsohn den Empörer ein. Pugatschews Bande wurde geschlagen. Er selber suchte sein Leben durch die Flucht zu retten. Niemand hörte mehr auf ihn. Jeder dachte nur an seine eigene Haut. Pugatschew entkam glücklich über die Wolga, viele von den Seinigen fanden darin aber ihr kühles Grab. Stephan war frei und kehrte mit seinen Landsleuten nach Seelmann zurück. „Was man hier doch erleben muss,“ sagte er zu seinem Herrn, „wer hätte das gedacht.“ Er ahnte nicht, das dieses Erlebnis für ihn nur ein Tropfen am Eimer Wasser sei.

Noch lange musste der Empörer Pugatschew den Stoff zum täglichen Gespräch der Seelmänner liefern. Es kursierten über ihn die verschiedensten Gerüchte. Einige wollten wissen, Pugatschew stehe schon wieder an der Spitze eines mächtigen Heeres und werde unaufhaltsam auf Moskau losgehen. Die alte Residenzstadt werde fallen und Pugatschew den

⁹⁾ So hieß damals Kamyschin.

¹⁰⁾ Vgl. „Klemens,“ II. Jahrg. S. 363

Kaiserthron von Russland besteigen. Wieder andere bestritten das unter starker Betonung, dass ihm das nicht gelingen könne, denn der tapfere Suworow sei gegen ihn gesandt, gegen den Pugatschew nur eine Rotznas sei. Stephan Heindel hatte die Gewohnheit, erst die verschiedenen Meinungen ruhig mit anzuhören und dann seine Ansicht auszusprechen. So tat er auch jetzt. Als eines Abends wiederum tüchtig über Pugatschew hin- und hergestritten wurde, sagte sein Wirt Zimmermann zu ihm: „Na Stephan, was meinst du dazu?“ „Was ich dazu meine?“ wiederholte Stephan, „Ich denke, wir tun am besten, wenn wir etwas vorsichtiger seien, als früher. Mit Pugatschew werden die Herren schon fertig werden, da brauchen wir keine Angst zu haben. Allein um den Kerl hatte sich viel Gesindel geschart, und dieses ist noch nicht vernichtet. Wir müssen daher acht geben, dass wir von diesem nicht ausgeplündert werden. Ich würde also vorschlagen, Wache auszustellen, bis die Umgegend vollständig sicher ist.“ Tags darauf hielt der Vorsteher Gemeinde, auf welcher der Vorschlag Heindels besprochen und allgemein angenommen wurde. 5 Wochen lang wurde des Dorf bewacht, und dreimal hatte man während dieser Zeit verdächtige Landstreicher festgenommen, die nichts Gutes im Schilde zu führen schienen. –

Die Jahreszeiten hielten ihren gewöhnlichen Wechsel. Es war bereits wieder August. Stephan war jetzt (im Jahre 1775) 23 Jahre alt. Wer ihn aber in Gesellschaft reden hörte, glaubte, aus ihm spreche ein Greis von 60 Jahren, so klar war sein Urteil und richtig seine Anschauung. Man gewöhnte sich allmählich daran, in wichtigen Dingen seinen Rat einzuholen. Sein Wirt Zimmermann gewann ihn immer mehr lieb und schenkte ihm volles Vertrauern. So schickte er ihn Ende August in einer Wirtschaftsangelegenheit nach Saratow. Stephan konnte sich sehr gut in Russischen aushelfen. Man nannte ihn sogar den ersten Deutsch-Russen, weil seine Aussprache ziemlich rein war, was er dem Aufenthalt in Torschok zu verdanken hatte. In Saratow angekommen, besorgte er vor allem seinen Aufschlag, erkundigte sich aber auch nach dem Schicksal des Pugatschew; denn er wollte einmal reinen Wein eingeschenkt haben. Diesen erhielt er auch. Er traf da seinen Bekannten Iwan Iwanowitsch Kusnezow. Sie bewillkommeneten sich freundlich, teilten ihre Neuigkeiten einander mit, und dann sprach Stephan: „Iwan Iwanowitsch, kannst du mir nicht über das Schicksal des Empörers Pugatschew genauen Aufschluss geben?“ – „Wie! das ist dir noch unbekannt?“ – „Bekannt oder unbekannt, wie man es nimmt,“ erwiderte Stephan. „Bei uns sind eben verschiedene Gerüchte im Umlauf, denen man nicht glauben kann, deshalb möchte ich einmal die unverfälschte Wahrheit vernehmen.“ – „Die will ich dir, lieber Freund, mit dem größten Vergnügen mitteilen. Komm, wir wollen dort hingehen,“ und damit zeigte er auf ein Schild, auf welchem zu lesen stand „Распивочно и на вынос.“ „Ist das

notwendig?“ sagte Stephan. „Wir können uns ja auf diese Bank niedersetzen, wenn du müde bist. Warum in die Kabacke gehen?“ – „Ei! Was, du weißt, wie es mir scheint, noch nicht, dass jeder Erzähler Arznei notwendig hat, wenn die Worte in seinem Halse nicht stecken bleiben wollen. Stephan suchte diese Ausrede zu widerlegen, allein es half ihm nichts, entweder musste er in die Kabacke mitgehen oder auf die gewünschte Aufklärung verzichten. Letzteres wollte er in keinem Falle, und so musste er sich das erste gefallen lassen. Als Stephan an die Türe kam, ekelte es ihn an. Eine Klinge oder ein Handgriff war nicht angebracht, man schob die Türe einfach mit dem Arme auf, infolgedessen ein großer, halbrunder Schmutzflecken an die Türe sich angesetzt hatte. „Na was ist?“ brummte Kusnezow und schob die Türe hinein. Kaum war Stephan eingetreten, als eine Schnapsflasche gegen die Türe geflogen kam, und nur durch eine geschickte Bewegung entging er einem harten Schläge. Zwei betrunkene Männer hatten sich in den Haaren und zerzten sich hin und her. Der Wirt ließ beide auf die Straße hinauswerfen, und die Ruhe war hergestellt. Stephan wurde es an diesem Orte unheimlich, daher drang er seinen Freund, die Erzählung zu beginnen, der ließ sich aber ganz kaltblütig ein Fläschchen hergeben und schenkte ein. Stephan nippte, Kusnezow trank aus. Stephan rückte sein Glas hin und her, Kusnezow schenkte für sich das zweite ein und leerte auch dieses in einem Zuge. Stephan erinnerte ihn wieder an sein gegebenes Versprechen, allein der Iwan Iwanowitsch stülpte das dritte hinunter. „So, jetzt geh's“ sagte er, mit der Rechten und der Linken den Bart nach beiden Seiten auseinanderstreichend. „Nun weißt du

was, Bruder? Trink doch!“ – „Gut, erzähle nur.“ - „ Ach, du mit deinem Erzählen. Nun es mag geschehen. Es ist dir bekannte, dass Pugatschew über die Wolga entkam. Er floh an den Usejn. Seine Vertrauten fingen an zu verzweifeln. Sie sahen, dass alles verspielt sei. Würden sie der Regierung in der Gefangennehmung des Empörers behilflich sein, so hatten sie Begnadigung zu erwarten. Sie beschlossen also, Pugatschew auszuliefern. Solange jedoch Pugatschew bewaffnet war, konnten sie ihm nicht ankommen. Da gebrauchten sie List. Als sie einmal bei Pugatschew versammelt waren, stellten sie alle ihre Waffen weg und brachten Arbusen herbei. Pugatschew legte seine Waffen ebenfalls bei Seite, nahm ein Messer und fing an, Arbusen zu essen. Mit einem solchen Messer in der Hand war Pugatschew doch noch sehr gefährlich. Da nahm einer so von ungefähr eine Arbus in die Hand und bat ums Messer, um dieselbe anzuschneiden. Pugatschew, nichts ahnend, gab es her. In demselben Augenblicke wurde er von den anderen überfallen und gefesselt. Sie überlieferten ihn Mawrin, einem Mitglied der Untersuchungskommission in Jaik. In einem hölzernen Käfig eingesperrt und unter sehr starker Bewachung wurde Pugatschew nach Moskau gebracht. Dort ward sein Los entschieden: Er wurde zur Vierteilung verurteilt. Am 10. Januar (1775) wurde das Urteil auf dem Platze „Boloto“ (Sumpf) in Gegenwart einer ungeheuren Volksmenge vollzogen. Mit Fesseln beladen, unbedeckten Hauptes, seinem Beichtvater gegenüber sitzend, wurde Pugatschew auf den Platz gebracht. Er bezeichnete sich mit dem hl. Kreuze, machte tiefe Verneigungen und sprach: „Verzeihet mir was ich an

euch verbrochen habe!“ Auf's Schafott gebracht, vollzog der Henker schnell sein Amt. Als der Kopf vom Rumpfe getrennt war, wurden auch die Arme und Beine abgehauen und an vier Ecken des Schafotts aufgehängt. Drei andere: Schigajew, Padurow und Tornow fanden ihren Tod durch den Strang. Tschika wurde zur Enthauptung nach Ufa geschickt. Mehrere andere wurden mit Knutenhieben traktiert und viele begnadigt. Das war das traurige Ende der Empörer.“ – „Ich danke dir,“ sagte Stephan, „mag damit auch unsere Unterhaltung an diesem verpesteten Orte ein Ende nehmen; denn ich kann es hier nicht mehr länger aushalten.“ – „Was? Trink doch!“ – „Ich kann nicht. Ich habe schon von dem Geruche zu viel. Komm, wir wollen gehen.“ – „Was du da faselst. Weggehen und die Wodka hier stehen lassen? Was fällt dir ein?“ – „Nun gut. So bleibe du meinetwegen hier. Ich gehe. Adjeu!“ und damit reichte er im die Hand und eilte zur Türe hinaus. Stephan ging zur Wolga hinunter. Kaum war er dort angekommen, so musste er sich, erbrechen. Da seine Geschäfte alle besorgt waren, so beeilte er sich, nach Seelmann zurückzukehren. Sobald es hier bekannt geworden war, Stephan sei aus Saratow gekommen, versammelten sich die Seelmänner haufenweise um ihn, um Neuigkeiten aus der Stadt von ihm zu erfahren. Er erzählte mit großer Lebhaftigkeit von Pugatschews Ende und ereiferte sich besonders über die Grausamkeiten der Edelleute gegen ihre Leibeigenen. Es gäbe, meinte er, keinen schwereren Stand als den eines Leibeigenen. Ein solcher müsse mehr aushalten, als man sich denken könne. – Hierüber musste Stephan noch

öfters erzählen, bis im Herbst desselben Jahres ein anderer Gegenstand des Gespräches sich darbot.

Es war am Feste Allerheiligen (1775), als einige Seelmänner von der Jagd nach Hause zurückgekehrt, nicht ohne Besorgnis mitteilten, sie hätten in der Nähe des Dorfes einige wilden Menschen herumstreichen gesehen. Dieselben seien ihnen sehr verdächtig vorgekommen. Ob es nicht wieder Räuber seien, wie zur Zeit des Pugatschew. Anfänglich legte man jedoch wenig Gewicht auf dieses Gerede, als aber Stephan am 11. November die verdächtigen Reiter gesehen hatte und nichts Gutes ahnte, da wurden alle mit Bangen erfüllt. Der Vorsteher verordnete Wache und verlangte von Zimmermann, er solle Stephan als Anführer derselben bestimmen. „Herr Vorsteher,“ sagte Zimmermann, „das kann ich nicht. Morgen haben wir ja Holztag, und da muss Stephan dabei sein. Wenn das Holz fertig ist, dann kann er gehen.“ – „Ja, wenn es dann nicht zu spät sein wird,“ antwortete Vorsteher, bestand aber nicht weiter auf seiner Forderung. Aber o weh! Was für ein Schrecken nachmittags den 12. November! Unter großem Geheul und Schreien stürmte eine ganze Rotte Kirgisen ins Dorf. 600 Mann, in vier Truppen geteilt, fingen an, das Dorf auszuplündern. Einige unerschrockene Männer setzten sich zur Wehr. „Ihr Männer,“ rief Johannes Klotz, „wenn wir uns nicht wehren, sind wir alle verloren! Kommt her, wir wollen diese Kerle zurückschlagen! Kaum hatte er das gesagt, da knallte seine Flinte, und ein Kirgise rollte sich in seinem Blute. Sein Kamerad, ein starker Kirgise, sprang auf Klotz los, doch auch er wurde von einer Kugel zu Boden gestreckt. Klotz suchte schnell ein Versteck

auf, um seinen Doppelläufer wieder zu laden, was ihm auch gelang. Die Kirgisen schrieten und brüllten, wie wenn sie wütig geworden wären. Klotz kam aus seinem Versteck hervor und legte wieder zwei nieder. Noch war der Pulverdampf vom letzten Schusse nicht verzogen, als ein Kirgise in kaum fünf Schritten vor Klotz war. Der Kirgise holte schon aus mit seiner Picke, um den Todesstoß zu versetzen, Klotz sprang aber zur Seite, und sein Feind erhielt mit dem Flintenschaft einen so starken Hieb auf den Kopf, das er maustot zu Boden sank. Klotz schlüpfte in den Keller und warf die Luke zu. Diesmal fanden jedoch die Kirgisen die Öffnung und stiegen in den Keller, noch ehe Klotz von frischem laden konnte. Trotzdem verlor er die Geistesgegenwart nicht. Die Angst gab ihm die Kraft eines Löwen. Mit beiden Händen griff er an die Rahmen des kleinen Kellerloches, ein Ruck, und das Loch war groß genug, um hinauszuschlüpfen. Er wollte auf die Straße, aber da johlten die Kirgisen. Nun dachte er im Nachbarshause eine Zufluchtsstätte finden zu können, allein auch da trieben sich Räuber herum. Da verschlupfte er sich rasch in der Holzscheuer und lud sein Gewehr. Jetzt fühlte er sich wieder sicherer und stieg über die Planke in den Nachbarshof. Hier sah er, wie gerade ein Kirgise die Frau des Jakob Richter an den Haaren fortschleppte. „Lass sie los!“ schrie er aus vollem Halse. Als ob es der Kirgise verstanden hätte, er ließ sein Opfer im Stiche und kam auf Klotz zu. Dieser aber, ein tüchtiger Schütze, drückte los und schoss den Kirgisen über den Haufen. Der Getroffene hatte seinen Geist noch nicht ausgehaucht, als ein anderer Kirgise in schnellem Galopp

angeritten kam, und im Nu sauste die Schlinge durch die Lift. Klotz wusste schon, dass die Kirgisen auf diese Weise den stärksten Gegner unschädlich machen, und machte einen Seitensprung. Der Strick traf ihm das Ohr und riss die Haut mit. Der Kirgise, wahrscheinlich die Flinte fürchtend, verfolgte Klotz nicht weiter. Klotz sprang über die Straße, dann über den Hof ins Feld. Da traf er mehrere Männer und Frauen, die sich in einem Graben verborgen hatten. Er machte den Männern die bittersten Vorwürfe. „Ihr seid rechte Memmen. Zwanzig Mann aus uns wären mit all diesen Räufern fertig geworden, wenn sie nur mit Gewehren sich versorgt hätten, aber allein kann ich nichts machen. Doch horcht! Was ist das?“ Es war schon dunkel geworden. In der Nähe hörte man Hufschläge. Die Weiber fingen an zu weinen. „Seid ruhig!“ gebot Klotz, „Ihr verratet uns ja.“ Das Schluchzen wurde unterdrückt, aber um so deutlicher hörte man jetzt das Weinen und Jammern aus der Ferne. Es war kein Zweifel mehr: die Kirgisen schleppten sich dort mit ihren Gefangenen herum. So war es in der Tat. Die Kirgisen schlugen außerhalb des Dorfes ihr Lager auf. Jetzt war dieses Versteck sehr unsicher. Klotz riet auf allen Vieren dem Dorfe zuzukrabbeln, um dann in die Wiese zu gelangen. Vorsichtig fingen sie Versteckten an zu rutschen. Die Weiber voran, die Männer nach. Klotz blieb bis zuletzt. In die Wiese konnten sie jedoch nicht gelangen; denn dort weideten die Kirgisen ihre Pferde. Wegen des hellen Mondscheins war es ihnen auch unmöglich, den Graben zu verlassen, um einen Umweg zu machen, und so mussten sie bis auf weiteres in ihrem Verstecke bleiben. Kaum war es Tag geworden, so verließen die Kirgisen ihren Weideplatz,

wahrscheinlich um die Pferde zu tränken. Vorsichtig kroch Klotz vor und spähte nach allen Richtungen, es war niemand zu sehen. „Kommt schnell!“ rief er, „Sie sind fort.“ Sie mochten ungefähr hundert Faden in der Wiese gewesen sein, als plötzlich hinter einem Hügel zwei Kirgisen sich aufrichteten. Mit der schrecklichen Nagaika in der Hand, sprangen sie auf die Frauen zu. „Zurück!“ rief Klotz. Darauf Krach! Krach! Und die Kirgisen lagen hingestreckt. Die Frauen und Männer liefen aus allen Kräften in südlicher Richtung in die Wiese. Klotz wollte schnell wieder sein Gewehr laden, war aber erst mit einem Schuss fertig, als 10 Reiter auf ihn losgesprengt kamen. An Rettung war nicht mehr zu denken. Der erste Reiter sollte ihn aber doch nicht haben, diesem machte er noch den Garaus. Klotz hielt jetzt die Flinte wie zum Schießen bereit. Das machte die anderen stutzen. Sie bildeten einen großen Ring um ihn und zogen denselben immer mehr zusammen. Als zwischen ihm und den Kirgisen noch ungefähr hundert Faden waren, stieß der eine einen Pfiff aus, und alle sprengten los. Klotz lief dem nächsten entgegen und versetzte dem Pferde einen so derben Hieb auf den Kopf, das es niederstürzte. Zwei andere Reiter stolperten darüber und Klotz war sogar aus dem Ring gekommen, allein in demselben Augenblicke fiel die Schlinge um seinen Hals und war in Nu zugezogen. Wie ein wütender Tiger über sein Opfer, so fielen die Kirgisen über Klotz her und misshandelten ihn auf die schrecklichste Weise. An Händen und Füßen gebunden, wurde er ins Lager gebracht. Hier lagen schon viele so gefesselt wie er, und wurden immer noch frische hinzugetrieben oder geschleppt. Das Vieh wurde

zusammengetrieben und das Beste daraus ausgelesen. Im Dorfe gingen die Kirgisen Haus für Haus und rafften alles zusammen, was ihnen nur dienlich sein konnte. An Widerstand war nicht mehr zu denken. Die Bewohner ließen alles im Stich, um nur sich selber zu retten, allein auch das gelang vielen nicht. Wo war Stephan Heindel?

Als die Kirgisen Donnerstag abend in Seelmann einfielen, war Stephan, sein Bruder Martin und noch 15 Knechte im Walde, wo sie Brennholz fällten. Als sie abends nach Hause zurückkehrten, trafen sie auf dem Sandbuckel den Vorsteher Baldau mit noch sieben Mann. Der Vorsteher sprach: „Ihr Jungens bleibt hier; denn im Dorfe sind die Kirgisen. Sie rauben Menschen und Vieh, und wer sich nicht rettet, der ist verloren.“ – Sind ihrer wohl sehr viel?“ fragte Stephan. „Sehr viel,“ gab Baldau zur Antwort, „wir können gegen sie nichts anfangen. Hierher werden sie aber wohl nicht kommen. Bleibt also da.“ Stephan überlege und hielt es auch schließlich am besten zu bleiben und abzuwarten, ob sich nicht eine Gelegenheit bieten werde, die Kirgisen zu vertreiben. Plötzlich jagten die 8 Reiter davon – sie hatten eine Truppe Kirgisen auf sich kommen sehen. Die 15 Knechte scharten sich nun um Stephan. Dieser stellte sich mit dem Beil in der Hand an die Spitze und erwartete die Räuber. Ein Dutzend Schlingen kamen geflogen und schnürten mehreren den Hals zu. Stephan schlug mit der Axt um sich, dass die Funken spritzten. Zwei Pferde hatte er schon zu Boden geschmettert und vom dritten den Reiter hinuntergeschlagen, da bohrte ein Kirgise im die Picke in die Seite, und ein anderer warf ihm die Schlinge um den Hals. Nun war jede Gegenwehr vergeblich, ja

könnte sogar lebensgefährlich werden. Stephan und die übrigen ergaben sich in ihr Schicksal. Sie wurden auf die Pferde gebunden und ins Lager gebracht. Es herrschte da ein Jammergeschrei über alle Begriffe. Die Kirgisen geboten Stille, und wer nicht folgte, der erhielt ohne Rücksicht ein paar Hiebe mit der Nagaika. Diese waren so schmerzlich, ja lebensgefährlich, dass sie den tiefsten Schmerz verstummen machten. Schluchzend und flüsternd klagte einer dem andern seine Not. Da waren Leute nicht bloß aus Seelmann, sondern auch aus Preuß, Keller und Leitsing. Männer und Weiber, alte und junge lagen durcheinander. Zwei Stunden vor Sonnenuntergang stieß er Kirgisenführer einen Pfiff aus, worauf alle schwiegen, Darauf sprach er etwas zu seinen Leuten, wovon die Gefangenen jedoch nichts verstanden. Kaum hatte er geendet, so wurde letzteren aber klar, worum es sich handelte. Es wurden Vorbereitungen zum Fortmarsche getroffen. Die Gefangenen wurden verteilt. Wieder herzerreißendes Weinen und jammern, und wieder Knutenhiebe von den Kirgisen. „Ihr Männer und Weiber,“ ließ sich da eine Stimme hören, „seid doch ruhig, sonst geht es uns noch schlechter. Soeben hat man mich hierher gebracht, und da musste ich sehen, wie diese Räuber den Jakob Richter aus Seelmann in der „Hohl“¹¹⁾ erstochen haben. Leiden wir geduldig aus Liebe zu Gott, dann ist es viel leichter!“ Der dies gesprochen hatte, war der Schulmeister Dalfuß. Abermals erteilte der Anführer Befehle und sogleich wurden die Gefangenen in einem Kreis niedergelegt. Die Räuber johlten und schrieten, dass die Gefangenen sich die Ohren zugehalten

¹¹⁾ So heißt ein Graben bei Seelmann.

hätten, wären ihnen die Hände nur nicht gebunden gewesen. Zwei Kirgisen brauchten Johannes Klotz und legten ihn in der Mitte des Kreises nieder. Zu den zwei gesellten sich noch fünf. Zwei setzten sich auf die Füße, je einer auf den rechten und linken Arm, und fingen an, den Unglücklichen zu martern. Zuerst schnitten sie die Finger an der rechten Hand gelenkweise ab. Klotz flehte und jammerte, dass Steine sich erweicht hätten, aber die Unmenschen waren herzlos. Einer von ihnen versetzte ihm einen grausamen Hieb mit der Nagaika übers Gesicht, dass die Backknochen hervorschauten. Das Jammern und Weinen der Gefangenen spottet jeglicher Beschreibung. Doch die Wut der Scheusale konnte es nicht abkühlen. Sie zerhackten den armen Klotz buchstäblich in Stücke. Unter schrecklichen Quallen gab der Unglückliche seinen Geist auf.¹²⁾

Die Nacht breitete ihren schwarzen Schleier über die Erde aus und machte den Grausamkeiten der Kirgisen ein Ende. Gegen Mitternacht erhob sich ein kalter Nordwind. Die Gefesselten versuchten zusammenzukriechen, um sich gegen die Kälte zu schützen, wurden aber auf unbarmherzige Weise auseinander getrieben. Ans Schlafen war gar nicht zu denken. Furchtbar war der Gedanke an den kommenden Morgen. Fort sollten sie

¹²⁾ Da die Erzählung das Beiwort „geschichtliche“ trägt, so wird es kaum notwendig sein zu bemerken, dass **kein** wesentlicher Umstand erdichtet ist, so abenteuerlich auch manches scheinen mag. Ich erzähle, was wirklich vorgekommen ist und nicht etwa von mir selbst ausgedacht wäre. Diese Bemerkung gilt für die ganze Erzählung.

geschleppt werden von ihren Verwandten und Freunden in eine ganz unbekannte Gegend, dienstbar werden einem so wilden und grausamen Volke. Da war nicht einer, der nicht geweint, nicht einer, der nicht ein gebrochenes Herz gehabt hätte.

Der Tag fing an zu grauen. Im Lager der Kirgisen wurde es lebendig. Die Gefangenen wurden auf die Pferde fest gebunden. Wer sich nicht willig darein gab, den machten die wie Feuer brennenden Knutenhiebe mürbe. Trotzdem war das Weinen und Jammern ein ohrenbetäubendes. Die Tochter wurde aus den Armen der Mutter gerissen und der Sohn vom Vater getrennt. Die Kirgisen nahmen nur so viel Leute mit, als sie bequem transportieren konnten. Fast einem jeden Gefangenen wurde daher der schmerzlichste Abschied von seinen Lieben aufgedrungen.

„Ach Mama! Ich bleib' nicht hier. Ich gehe mit. O liebe, teuerste Mama! Soll ich Euch nicht mehr sehen?“ - „Bleib' nur da, liebe Tochter, geh nur nach Hause, damit die Räuber auch dich nicht binden, wie sie es mit mir getan. Ich will gerne sterben, wenn du nur verschont bleibst.“ - „O du mein teuerster Sohn! Alle meine Hoffnung hatte ich auf dich gesetzt. Du solltest der Stab meines Alters sein, und nun schleppen dich diese Bösewichter fort von mir, fort aus unserer Heimat! O lieber Himmel! Komm uns doch zu Hilfe! Komm her, ich will dich zum letzten Mal küssen. Bleib gesund! Gott beschütze dich! Bete, dass wir uns wiedersehen!“ So und ähnlich riefen und weinten die Gefangenen durcheinander. Die Mütter wurden ohnmächtig, als sie sahen, wie die Kirgisen ihren Kindern die Picken in den Leib

bohrten und dann die Unschuldigen von sich wegschleuderten. Wie einst die Mütter Bethlehems über den Mord ihrer Kinder durch Herodes untröstlich waren, so auch die aus Seelmann, Preuß, Keller und Leitsing. Wie damals, so war auch jetzt „viel Weinens und Heulens; Rachel beweinet ihre Kinder, und will sich nicht trösten lassen, weil sie dahin sind.“ Mancher hätte sein Elend vielleicht noch ruhig hingenommen, doch der Schrei des Kindes, wenn es von der Picke durchbohrt und bei Seite geworfen wurde, darauf dass Ächzen und jammern überstieg alle menschlichen Kräfte. Man sah nur rot geweinte Augen und hörte schließlich nur heiser geschrieene Stimmen, aber auch der höchste Grad des Elends erweichte die Unholde nicht. Weder der Greis noch der Jüngling, weder die Frau noch das Mädchen blieb von ihnen verschont. Der alte Heim aus Seelmann glaubte, er sei vielleicht aus Versehen gebunden, da er sich nicht denken konnte, was wohl die Kirgisen mit ihm anfangen wollen. Er bat unter allerhand Zeichen um seine Freilassung. Da ihm die Hände gebunden waren, und er somit nicht auf sein graues Haar hinweisen konnte, so schüttelte er das Haupt, um darauf aufmerksam zu machen, allein alles vergebens, seine Fesseln wurden nur um so fester geschnürt. Den 21jährigen Martin Heindel, den Bruder des Stephan, ließen die Kirgisen frei umherlaufen. Keiner der Räuber legte Hand an ihn, unbeachtet dessen, dass Martin sich stets bei seinem gebundenen Bruder aufhielt. „Bruder,“ sprach Martin, „ich geh mit dir. Wo du bist, will auch ich sein, und wo du stirbst, will auch ich sterben. Solange man mich nicht mit Gewalt von dir trennen wird, will ich dich nicht verlassen.“ Stephan

missbilligte seinen Plan, Martin jedoch bestand darauf und suchte sich sogleich ein Pferd aus. Merkwürdigerweise wurde er gar nicht gehindert, aber auch nicht gebunden.

Eine Stunde nach Sonnenaufgang war alles zur Abreise bereit. Der Anführer gab das Zeichen, und der Zug setzte sich in Bewegung. Voran wurde das Vieh getrieben, dann folgten die Reiter mit den Gefangenen je 20 in einer Reihe. Die Gefesselten drehten sich wie getretene Würmer, aber keiner konnte sich losmachen. Herzerreißende Szenen spielten sich nun ab. „Ade, lebe wohl, liebe Mutter!“ wurde hie und da gerufen. „Ich werde dich nicht mehr sehen. Ach, es ist mein Tod! Warum soll ich noch länger leben? Was werde ich nun anfangen? Ach Gott! Jetzt werden wir fortgeschleppt in die weite Welt zu diesen Räubern. Keinen Priester werden wir mehr sehen, keine Messe mehr anhören können. O gibt es denn keine Rettung mehr für uns? Müssen wir wirklich fort?“ In diese Klagerufe der Unglücklichen mischte sich des höhnische Gelächter der Kirgisen. Sie schrieten, sangen, pfffen aus voller Brust in der lustigster Weise. Triumphierend, wie wenn ein Heer siegreich aus der Schlacht heimkehrt, zogen sie davon. Je mehr ihre Opfer klagten, desto grausamer wurden ihre Peiniger. Mit teuflisch schadenfroher Miene weideten sie sich an ihren Schmerzen. Als ob die Geraubten noch nicht genug zu leiden gehabt hätten, sannnen die Unholde auf neue Peinigungen. Einer aus ihnen band die Frau des Sperlein an den Schweif seines Pferdes und zwang sie nachzulaufen. Der alte Heim, welcher mit der Last seiner Jahre schon zu tun hatte, war zu schwach, die Strapazen zu ertragen. Seine Kräfte nahmen sichtlich ab. Als der Kirgise sah, dass der alte Mann

ihm nichts mehr nützen könne, stach er ihm kaltblütig das Messer ins Herz und warf ihn an den Weg. Zu all den Leiden gesellte sich noch eine strenge Kälte. Leicht gekleidet und fest zusammengeschnürt, fühlten die Armen ihre Glieder vor Kälte nicht mehr. Abends machte man Halt. Die Gefangenen wurden von dem Pferden losgeschnürt und in einem Ringe aufgestellt. In der Mitte schlugen die Kirgisen einen Pfosten in die Erde und ließen Holz und Reisig beitragen. Die Gefangenen freuten sich schon, denn alle glaubten, dass ein Feuer angezündet werden sollte, um sich wärmen zu können. Doch sollte sie diese Erquickung nicht schmerzlos erhalten. Zu ihrem größten Schrecken brachten zwei Kirgisen den Bruder des so grausam ermordeten Johannes Klotz und banden ihn an dem Pfosten fest. Er wurde mit Reisig ganz zugedeckt, und dann der Holzstoß angezündet. Wie aus einem Halse ertönte der Schmerzensruf unter den Gefangenen. Sie wandten sich ab, um dieses schauderhafte Schauspiel nicht mit ansehen zu müssen. Als die Fesseln verbrannt waren, sprang Klotz aus dem Feuer, erhielt aber einen so derben Hieb mit der Nagaika, dass er rücklings in den Scheiterhaufen zurückstürzte, um nie wieder herauszukommen. Die Kirgisen schürten fortwährend am Feuer und suchten in Spottreden und Hohngelächter einander zu übertreffen. Waren ihre Worte den Gefangenen auch unverständlich, so lieferten die Gebärden und Mienen die Dolmetscher. Als der erste Scheiterhaufen abgebrannt war, wurde ein zweiter angezündet. Alle gerieten in Angst. Das Herz eines jeden bebte, als wollte es die Seite durchschlagen; denn ein jeder dachte, vielleicht bin ich jetzt an der Reihe. Doch diesmal ging die Gefahr vorüber. Die Gefangenen

durften sich wärmen, wahrscheinlich fürchteten die Räuber, ihre Opfer könnten durch den Frost verstümmelt und so zu jeder Arbeit untauglich werden. Stephan und Dalfus standen nebeneinander. Dieser hatte im Auslande eine gute Schulbildung genossen. Eine Zeitlang hatte er sich auch mit der Theologie beschäftigt, da er in den geistlichen Stand treten wollte. Später gab er diesen Plan auf und ging nach Russland, weil er als Lehrer und Küster in den deutschen Kolonien sein Brot zu verdienen hoffte. Mehrere Jahre hatte er in Preuß dieses Amt zur größten Zufriedenheit der Einwohner versehen. Jetzt hatten die Kirgisen seiner Tätigkeit ein Ende gemacht. Stephan war mit Dalfus schon lange bekannt. „Höret einmal,“ sagte er zu ihm, „heute ist Sonntag, (15. November 1775) und wir haben kaum daran gedacht. Ihr könnt gerade ein paar Trostworte an uns richten und etwas vorbeten, um Gott unsere Leiden aufzuopfern.“ – „Der Gedanke ist gut,“ antwortete Dalfus, „las mich ein wenig besinnen.“ Er überlegte eine Viertelstunde, was er sagen wollte, dann stand er auf und gebot Ruhe. Das Weinen verstummte, und die Kirgisen schwiegen aus Verwunderung darüber. Dalfus neigte das Haupt in Form eines Kreuzes und begann, die Worte des Propheten Jeremias voransetzend: „ Wer gibt meinem Haupte Wasser und meinen Augen eine Tränenquelle, dass ich Tag und Nacht beweine die Erschlagenen der Tochter meines Volkes.“¹³⁾ Liebe Brüder und teure Schwestern in Christo dem Herrn! Könnten wir so viele Tränen vergießen, dass unsere Räuber darin ertrinken würden, auch dann wäre unser Elend noch nicht genug beweint. Auf so grausame Weise

¹³⁾ Jerem. 9, 1

fortgeschleppt aus der Heimat, entrissen allem, was uns lieb und teuer ist, das verursacht einen Schmerz, den auszusprechen jede Menschenzunge sich vergebens bemühen würde. Wir alle empfinden diesen Schmerz, allein wir alle müssen als gute Christen auch noch etwas anderes empfinden und dies ist die christliche Liebe. Es ist besser Unrecht leiden, als Unrecht tun, wohlan lassen wir unsere Liebe bei dieser starken Prüfung recht deutlich hervortreten. Fluchen wir nicht unseren Feinden, sondern beten wir vielmehr für sie und sprechen wir mit den lieben Heilande am Kreuze: „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.“¹⁴⁾ Dieses, Geliebte, ist die einzige Arznei welche alle unsere Wunden heilen kann und wird, wenn wir sie mit Geduld und aus Liebe zu Gott ertragen; denn „denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten.“¹⁵⁾ Ein jedes unserer Leiden wird ein glänzender Edelstein in unserer Krone werden, wenn wir es mit Geduld und mit Ergebung in den Willen Gottes ertragen. Die göttliche Vorsehung wacht über uns, werden wir also nicht kleinmütig. Beten wir lieber mit dem Psalmisten: „Der Herr ist mein Helfer; ich werde wegschauen über meine Feinde.“¹⁶⁾ Zeigen wir unseren Feinden, dass unser Glaube uns Kraft genug gibt, um alle Unbilden mit der größten Ruhe zu leiden. Da wir uns ihnen aber nicht durch Worte verständigen können, so wollen wir es ihnen durch die Taten zeigen. Last uns daher gemeinschaftlich das Abendgebet verrichten und ein Lied singen. Hierauf begann er in der gewohnten Weise

¹⁴⁾ Luk. 23, 34.

¹⁵⁾ Röm. 8, 28

¹⁶⁾ Ps. 117, 7

vorzubeten. Zuerst die drei göttlichen Tugendakte, dann den hl. Rosenkranz und die Lauretische Litanei. Anfangs beteten nur wenige laut, weil sie vor Schluchzen ihrer Stimme nicht Herr werden konnten, aber schon bei der zweiten Hälfte des Rosenkranzes fehlte niemand. Schließlich stimmte Dalfus das Abendlied an: „Bei uns verbleib, Herr Jesu Christ, weil es nun Abend worden ist,“ und der Chor war ein vollständiger. Das Lied war zu Ende, eine merkliche Stille herrschte. Auf die Kirgisen hatte besonders der Gesang einen tiefen Eindruck gemacht. Sie verhielten sich ganz ruhig. Die Gefangenen waren ernst gestimmt und suchten in dieser Stimmung ihr Nachtlager auf. Als Schutz gegen den kalten Nordwind musste die Viehherde dienen. Außerdem wurde ein Feuer unterhalten.

Gegen Morgen fing es an zu schneien. Die Gefangenen wurden wieder auf die Pferde gebunden und der Marsch fortgesetzt. Am achtzehnten Tage nach dem Abmarsch aus Seemann, am 2. Dezember, erreichten die Kirgisen die Stadt Jaik.¹⁷⁾ Sie lagerten in einer solchen Entfernung von der Stadt, dass sie nicht leicht entdeckt werden konnten. Vorreiter wurden ausgesandt, um Kundschaft einzuziehen, ob die Räuber ungehindert über den Fluss Jaik setzen könnten. Die Kirgisen fürchteten sich nämlich vor den Kosaken, sie wollten nicht nur selber mit heiler Haut davon, sondern auch ihre Beute nicht verlieren. Sie warteten deshalb mit dem Übergang bis tief in die Nacht hinein. Jeder Laut wurde unterdrückt. In

¹⁷⁾ Das ist Uralsk. Die Stadt und den Fluss Jaik ließ die Kaiserin Katharina II. in Uralsk, beziehungsweise Ural umbenennen, um jede Erinnerung an die Empörung Pugatschews auszumerzen.


der größten Stille schlichen sie sich dem Flusse zu. Als aber die Gefangenen in der Nähe Häuser erblickten und ein Licht flackern sahen, so konnten sie die Hilferufe nicht unterdrücken. Sie riefen aus vollem Halse, ob sich nicht jemand ihrer erbarmen wollte. Doch das kam ihnen teuer zu stehen. Die Nagaikenhiebe fielen wie Hagel hernieder und schlossen allen den Mund. Ein Mann aus Keller wollte jedoch nicht nachgeben. Er schrie aus Leibeskräften: „Hilfe! Hilfe!“ Da machten die Kirgisen mit ihm kurzen Prozess. Es war da gerade ein Loch ins Eis gehackt, wo die Kosaken wahrscheinlich ihre Pferde tränkten. Die Räuber banden den Mann los, verstopften ihm den Mund und führten ihn vors Loch. Der Arme ahnte schon, was man mit ihm vorhabe, fiel auf die Knien, die gefesselten Hände empor streckend. Doch vergebens. Die Unmenschen schoben ihn einfach unter das Eis. Eine Frau, die ebenfalls nicht schweigen wollte, erhielt mit dem Messer einen Stich ins Herz und wurde dann auch ins kühle Grab gelegt. Diese Grausamkeiten erfüllten alle Gefangenen mit Furcht und Schrecken. Sie wurden alle mäuschenstill; denn das Leben hatten sie dennoch lieber als die Freiheit. Jetzt ging der Übergang ungestört vor sich. Einige Reiter ritten fortwährend in der Richtung zur Stadt, andere kehrten von dort zurück. „Sollte uns denn niemand bemerken?“ sagte Dalfus zu Heindel. „Wenig oder gar keine Hoffnung,“ erwiderte Heindel. „Wer wird bei diesem Wetter sich in der Steppe herumtreiben? Zudem ist der Wind uns sehr ungünstig; wir könnten uns den Hals ausschreien, und in der Stadt würde man uns doch nicht hören. Unsere letzte Hoffnung ist dahin, wenn unsere Peiniger eine halbe Tagreise

von der Stadt werden zurückgelegt haben.“ Stephan hatte das Richtige erraten. In die Kirgisen schien neues Leben gefahren zu sein, als sie die Stadt aus der Sicht verloren hatten. Sie piffen, sangen und schrieten durcheinander mit der großen Lebhaftigkeit, so dass ein jeder ihnen die Freude vom Gesicht ablesen konnte. „Ein schlimmes Zeichen für uns!“ sprach Stephan. „Die Räuber sind nun ihrer Beute sicher, darum sind sie so froh. Wir werden nun bald in unserer Heimat sein, wenn wir den neuen Aufenthaltsort überhaupt so nennen dürfen. Jetzt also frischen Mut, ihr lieben Leut’, denn dem Kühnen steht das Glück bei. Nur nicht furchtsam sein und gerne an die Arbeit gehen, dann wird das traurige Los erleichtert.“ Doch noch volle drei Tage wurde der Marsch fortgesetzt, bis die Kirgisen an ihrem Wohnorte ankamen.

Abends, den 5. Dezember, hielten die Kirgisen vor einer großen Jurta. Obgleich es schon spät und dazu noch kalt war, so hatte sich doch im Handumdrehen ein Haufe Neugieriger eingefunden. Die Angekommenen wurden wie Sieger begrüßt. Am nächsten Morgen hielten sie ein großes Freudenfest. Die Gefangenen durften frei umhergehen und erhielten ein jeder ein Stück Fleisch zur Mahlzeit. Die Amtspersonen hatten sich eingefunden, und nun ging es an die Teilung der Beute. Die Gefangenen wurden in Gruppen nach Alter und Geschlecht geteilt, von den Beamten besichtigt und dann jenen die sich am Raubzuge beteiligt hatten, zugewiesen. Es waren deren aber sechshundert Mann, und ein jeder aus ihnen erhielt drei Gefangene, im ganzen hatten sie also tausend achthundert Menschen aus den drei Dörfern – Seelmann, Keller und Leitsing – fortgeschleppt, die auf dem Wege

Umgebrachten nicht gerechnet. Das Teilen ging nicht ohne Streit und Prügelei ab. Einige stritten sich um junge Männer, andere um junge Frauen und Mädchen. Stephan, sein Bruder Martin und Dalfuß standen stets beisammen und hofften, einen Herrn zugesprochen zu werden, aber ihr Wunsch sollte sich nicht erfüllen. Sie wurden getrennt und Kirgisen überwiesen, die nicht einmal an demselben Orte wohnten. So schwer es ihnen auch fiel, sie mussten von einander scheiden. „Lebe wohl, Bruder Stephan!“ sagte Martin weinend; „wo du auch sein wirst, mein Geist wird sich immer bei dir aufhalten. Wer weiß, ob wir uns in unserem Leben noch einmal sehen werden. Gute Nacht! Lebe wohl!“ – „Verzage nicht, Bruder,“ tröstete ihn Stephan, „bei Gott ist kein Ding unmöglich. Er kann machen, dass wir uns wieder treffen, ja dass wir noch befreit werden. Ziehe hin mit deinem Herrn, diene ihm treu und sei aufrichtig, dann wird es schon gehen. Du bist freiwillig mir zu Lieb in die Gefangenschaft gegangen, das werde ich nie vergessen. Auch mein Geist wird stets bei dir sein, meine Gedanken werden sich mit dir beschäftigen. Lebe wohl, Bruder! Gute Nacht, Allerliebster! Bete, damit wir uns wiedersehen!“ Darauf fielen sich beide um den Hals, küssten sich und weinten so jämmerlich, dass der Herr des Martin die Szene nicht länger mit ansehen konnte und sich entfernte. Der Herr des Stephans dagegen, ein rechter Grobian, hieß sie barsch auseinander gehen, und da sie nicht augenblicklich folgten, so griff er zur Nagaika. Das sahen die beiden, und mit Blitzesschnelle waren sie auseinander. In der Eile wechselte Stephan noch mit Dalfuß den Abschiedskuss und wurde dann von seinem Herrn vorwärts getrieben.

Ein glühendes Abendrot färbte den Himmel im Westen. Es war, als wollte der Himmel die blutrot geweinten Augen der armen Gefangenen durch seinen Schein bemitleiden. Es spielten sich da Szenen ab, welche zu beschreiben keine Feder im Stande ist. Bisher waren die Geraubten wenigstens alle zusammen gewesen, jetzt wurden sie aber mit Gewalt auseinandergerissen und in die verschiedensten Gegenden gebracht. Viele haben sich in ihrem irdischen Leben nie mehr gesehen. Dalfuß wurde ohnmächtig, als man seine zwei Töchter auf die unmenschliche Weise von ihm riss. Als er zu sich kam, waren seine Lieben schon auf die Pferde gebunden. Er wollte mit, mochte es kosten, was es wolle. Die Kinder weinten und jammerten, dass ein Marmorherz sich erbarmt hätte, die Kirgisen aber blieben ungerührt. Vier Mann fielen über Dalfuß her, rissen ihn zu Boden und legten ihn in Fesseln. Der Kirgise jagte mit den Kindern rasch davon.

tephans Herr ritt mit seinen drei Gefangenen die ganze Nacht, ohne einmal zu halten. Gegen 10 Uhr vormittags erblickte Stephan am Fuße eines Berges einige schwarze Punkte, und nach einer halben Stunde machten sie vor ungefähr 20 Jurten (Zelten) Halt. Sie waren an Ort und Stelle angekommen. Stephan und die anderen zwei waren blau gefroren und wollten sogleich in die Jurta gehen, um sich zu wärmen, da kamen sie aber schön an. Unter wütenden Poltern und Schimpfen trat ihnen der Kirgise entgegen und trieb sie hinaus. Sie suchten sich nun durch Hin- und Herlaufen zu erwärmen, schauten auch vorsichtig in eine etwas kleinere Jurta, und da sie darin keine Frauen sahen, so

traten sie schüchtern ein. In der Mitte war ein kleines Feuer angezündet. Drei Männer saßen herum und hielten ihre Hände darüber. Einer aus ihnen fuhr die Sklaven hart an, wurde aber von ihnen nicht verstanden. Stephan gab dem Manne durch Zeichen zu verstehen, dass er sich wärmen wolle, und schritt rasch ans Feuer. Die Kirgisen murmelten dann etwas unter sich und kümmerten sich um die Sklaven nicht weiter. Das Feuer hatte bald ihre starren Glieder erweicht, aber der Magen brummte unaufhörlich. Sie hatten geglaubt, dass man ihnen gleich nach ihrer Ankunft eine Stärkung verabreichen würde, mussten aber warten bis gegen Abend, ehe sie Vorbereitungen zum Essen bemerkten. Jeder erhielt ein Stück Fleisch, aber ohne Brot. Dieses schien ihnen zu wenig, doch in den folgenden Tagen wären sie herzlich froh gewesen, wenn sie nur soviel erhalten hätten. Die Kirgisen schienen sie ganz vergessen zu haben. Einstens saß die ganze Kirgisenfamilie um einen gebratenem Hammel und ließ es sich wohl schmecken. Stephan hatte den Jähunger. Er zeigte auf seinen Leib, fuhr mit der Hand zum Munde, verneigte sich bis zur Erde, um etwas zum Essen zu bekommen, allein die Kirgisen blieben unerweichlich. Traurig setzte sich Stephan in einer Entfernung auf den Boden und schaute in die Jurta. Da kam ein abgenagter Knochen geflogen. In der Nähe lag ein Hund, der den hingeworfenen Knochen sogleich mit den Pfoten ergriffen hatte. Stephan riss ihm denselben aus den Zähnen und fing begierig an, die letzten Fleischresten daran abzunagen. Es wurde ihm nun noch ein Knochen um den anderen zugeworfen, aber an allen war nur sehr wenig Fleisch. Das Mahl war beendet, und Stephan

musste hungrig fortgehen. Stephan und seine Mitgefangenen weinten die bittersten Tränen. „In der Heimat finden unsere Hunde mehr an den Knochen als wir hier,“ sagte er. „Woher sollen wir nur die Kräfte nehmen, um die aufgetragenen Arbeiten zu verrichten?“ Es war das nicht das letzte Mal, dass die Sklaven so unmenschlich behandelt wurden. Stephan musste sich noch öfters mit den hingeworfenen Knochen begnügen. Wegen Unkenntnis der Sprache musste sein unschuldiger Rücken unzählige Prügel aushalten. Da es Winter war, und Stephan keine anderen Begriffe hatte, als dass das Vieh im Winter im Stall gefüttert werden müsse, so verstand er von den Befehlen seines Herrn das gerade Gegenteil. Er wurde geheißen, die Pferde und Kamele auf die Weide zu treiben, und er hielt sie auf einem Haufen neben der Jurta. Ihm wurde gezeigt, wie er die Stuten zu melken habe, und er verstand, er solle keinen beilassen, der melken wolle. So sehr er sich auch in acht nahm, sein Herr fand stets etwas an seinen Arbeiten auszusetzen, und Stephan musste für alles schwer büßen. Eines Tages erhielten alle drei eine tüchtige Tracht Prügel. „Kommt, wir wollen durchgehen,“ meinte der eine aus ihnen. „Ja, wohin denn?“ sagte Stephan. „Welche Richtung sollen wir denn einschlagen? Wir wissen ja den Weg nicht. Und selbst dass, wenn wir uns auch in der Steppe zurecht finden sollten, wären wir doch verloren; denn wir haben ja keine Lebensmittel. Entweder würden wir verhungern, oder die Wölfe würden sich uns zur Mahlzeit holen. Käme es nicht so weit, dann würden wir wahrscheinlich anderen Räubern in die Hände fallen, und dann wäre unser Los noch schlimmer als jetzt. Das habe ich schon alles überlegt

und mir den Kopf mit verschiedenen Plänen zerbrochen und bin zu dem Resultat gekommen, es ist am besten, wir bleiben, wo wir sind. Der März geht seinem Ende entgegen, und wenn erst einmal der liebe Frühling eingezogen ist, dann lässt sich vielleicht etwas machen. Also nur geduld.“ Die Mitgefangenen sahen nur zu klar ein, dass Stephan recht habe, als dass sie ihren Plan ausgeführt hätten. Ihre größten Hoffnungen setzen sie nun auf den Frühling. Alles hätten sie gerne ertragen, wären nur die Kirgisen mit der Nahrung nicht so genau gewesen. Die Gefangenen erhielten kaum so viel, dass sie nicht dem Hungerstode verfielen. Einstens wurde Stephan wieder schrecklich vom Hunger gequält. Als er nun die Kamele zur Tränke trieb, bemerkte er da ein Rudel Hunde. Dem Nachbar war ein Pferd krepirt. Er hatte ihm die Haut abgezogen und das Aas dorthin geschleppt. Stephan zog rasch sein Messer aus dem Gürtel, schnitt ein Stück Aas los, machte Feuer, briet das Fleisch und aß es halbroh. Darauf schnitt er noch ein Stück ab, verbarg es unter den Kleidern, um es seinen Mitgefangenen zu bringen, welche von dem bleichen Gespenst ja ebenso gequält wurden, wie er. Als Stephan dem einen aus ihnen das Stück fleisch zeigte, sperrte dieser den Mund auf und war im Begriffe, einen Freudenschrei auszustoßen. „Sei still!“ sagte Stephan leise und stopfte ihm schnell eine Handvoll Gras in den offenen Mund, „sonst nehmen sie es uns weg.“ Ohne Aufsehen zu erregen, entfernten sie sich, brien und aßen. „Wie das so gut schmeckt,“ meinte der eine. „Na du weißt doch, erwiderte der andere, „der Hunger ist der beste Koch.“ Ein anderes Mal musste Stephan wieder aus der Not helfen. Der Tamyr des Nachbarskirgisen hatte diesen besucht,

bei welcher Gelegenheit ein Festmahl gegeben wurde. Der wesentliche Bestandteil des letzteren ist aber bei den Kirgisen ein gebratener Hammel. So war es auch beim Nachbar. Stephan fand die hinausgeworfenen Gedärme des geschlachteten Hammels auf, reinigte sie vom Unrat, briet und aß mit seinen Genossen. Von nun an gab er acht, wann bei seinem Herrn ein Stück Vieh geschlachtet wurde, und hat noch öfters mit den Gedärmen seinen Hunger gestillt. –

Der Schnee war von den warmen Sonnenstrahlen geschmolzen. Ein gelinder Frühlingswind zog über die Steppen. Die Kräuter sprossen überall hervor und überzogen die Flur mit einer grünen Decke. Neues Leben zeigte sich allerorts. Stephan und seine Genossen waren froh, dass sie wenigstens einen Feind weniger hatten – die Kälte. Auch hofften sie, mit Wurzeln leichter den Hunger stillen zu können. Dem Stephan wurden die Ziegen und Schafe zum Hüten anvertraut. Eines Morgens saß er und schaute hinüber nach Westen in seine Heimat. Es sann nach, ob es denn gar keinen Ausweg gebe, sich aus der Sklaverei zu befreien. Da sah er, wie zwei Reiter herangeritten kamen. In dem einen erkannte er alsbald seinen Herrn, in dem anderen einen neuen Sklaven. „Da hast du einen Kameraden,“ sprach der Kirgise vom Pferde absteigend, „er wird die Kamele allein hüten. Gebt acht, dass ihr das Vieh gut weidet, sonst zieh´ ich euch die Haut lebendig vom Leibe.“ Der neue Sklave bat seinen Herrn um Nahrungsmittel und bediente sich dabei der kirgisischen Sprache. Das war Stephan auffällig, da er bisher stets gehört hatte, dass die Kirgisen ihre Landsleute nicht zu Sklaven

machen. Er fragte deshalb seinen Kameraden, woher er sei. „Wir sind wahrscheinlich Landsleute,“ antwortete jener in russischer Sprache. „Richtig,“ sprach Stephan sehr erfreut, und beide ließen sich gleich in ein sehr freundliches Gespräch ein. Sergej Lukitsch Rasumow – so hieß der Russe – hörte mit großer Aufmerksamkeit zu, wie Stephan ihm erzählte, auf welche Weise er in die Gefangenschaft geraten sei. Darauf bat Stephan seinen Kameraden, ebenfalls zu erzählen, wie ihn das Unglück getroffen habe. „Ach, Stepan Kondratjewitsch,“ begann Rasumow, „du hast zwar viel zu leiden, aber hast doch das Bewusstsein, dass Feinde dich deiner Heimat beraubt haben; ich aber fühle zu allem dem noch die tiefe Kränkung, dass einer meiner besten Freunde mich den Kirgisen verkauft hat.“ – „Ist es möglich?“ rief Stephan verwundert. „Nicht nur möglich, sondern Wirklichkeit, wie du siehst,“ sprach Rasumow tief gerührt. „Höre, wie das zugegangen ist. Ich bin aus Orenburg und hatte einen Freund, der mir so nahe wie mein leiblicher Bruder stand. Mit meiner Braut – Olga Andrejewna heißt die Schöne – wollte ich mich nach Ostern trauen lassen und ahnte nicht, dass mein Freund auch um die Hand der Olga warb, meine Allerliebste schickte ihn aber mit einem Korb nach Hause. Darüber wurde er wütend und beschloss, sich zu rächen. Eines Abends lud er mich ein, am nächsten Tage auf die Wolfsjagd zu reiten. Ich gab meine Zustimmung. Meine Braut warnte mich „Ich traue dem Schurken nicht,“ sagte sie, „er will dich in eine Falle locken.“ Doch ich verwies ihr diesen Argwohn und traf die notwendigen Vorbereitungen zur Jagt. Kaum dämmerte der Tag, da stand mein Freund schon vor der Türe. Ich, nichts

Böses ahnend, ritt mit. Wir mochten anderthalb Stunden unterwegs gewesen sein, als wir eine Kirgiser Kibitka erblickten. Mein Freund sagte, es sei das ein bekannter Kirgise zu ihm, den wir besuchen wollten. Wir ritten hin und wurden höflichst empfangen. Kaum hatte ich mich niedergesetzt, so fielen mein Freund und der Kirgise über mich her und banden mich an Händen und Füßen. Der Überfall geschah so unverhofft, dass jede Gegenwehr umsonst war. „Freund, hast du Ernst?“ fragte ich. „Ha, da liegst du jetzt,“ sagte er grinsend, drehte mir den Rücken zu, setzte auf und ritt fort. Der Kirgise machte sich auch rasch auf die Lappen und hat mich deinem Herrn übergeben. Mein Herzeleid kannst du dir denken.¹⁸⁾ Ich bin aber froh, dass ich in deiner Person wenigstens einen besseren Freund gefunden habe, als jener war.“ - „Und ich,“ sagte Stephan, „freue mich noch mehr. Versteht sich, nicht darüber, dass du in die Gefangenschaft geraten bist, sondern weil du mein bester Kamerad bist. Du kannst die kirgisische Sprache und wirst also gut sein, mir den allernotwendigsten Unterricht darin geben, dann werde ich doch die Prügel los sein.“ Rasumow war damit einverstanden, und Stephan lernte mit der größten Wissbegierde. Beide waren bald die intimsten Freunde. „Wir wollen wahre Tamyre sein?

¹⁸⁾ Das Erzählte ist buchstäblich wahr, nur fällt die Tatsache in eine spätere Zeit. Der Abrundung wegen nahm ich sie hier auf. Der angegebene Name ist jedoch erdichtet, da ich den wahren Namen nicht ermitteln konnte. Vom weiteren Schicksal Rasumows sei bemerkt, dass er in die Sklaverei nach Chiwa verkauft, dann aber befreit wurde. Seine Braut war ihm treu geblieben, und beim Wiedersehen glaubten beide, das höchste irdische Glück zu besitzen das sie sich nur denken konnten. Dass die Trauung darauf folgte, ist selbstverständlich.

Nicht wahr?", sagte Rasumow. „Ja, was ist damit gemeint?“ – „Das will ich dir gleich auseinandersetzen. Tamyr bedeutet Freund. Doch solche Tamyre sind bei den Kirgisen nicht alle, die in freundschaftlicher Beziehung stehen, sondern nur diejenigen, welche diese Freundschaft auf eine besondere Weise geschlossen haben. Die Veranlassung zu diesem Freundschaftsbunde bildet gewöhnlich ein wichtiges Ereignis. Wollen zwei Kirgisen den Tamyrbund schießen, so umarmen sie sich, legen zwischen die entblößten Brüste ein blankes Schwert und schwören dabei, einander das ganze Leben lang immer beistehen zu wollen. Dieser Freundschaftsbund hat Gütergemeinschaft im Gefolge. Ein Tamyr kann bei dem anderen nehmen, was er will, selbst dessen Tochter. Würde ein Tamyr dem anderen die gewünschte Sache nicht geben, so entstände dadurch lebenslängliche Feindschaft, die zur Blutrache führt. Ich und du, wir wollen nun auch eine solche Freundschaft schließen. Statt ein Schwert auf unsere Brust zu legen, geben wir uns den Bruderkuss.“ Sie küssten sich herzlich und schworen, für alle Zeiten nur ein Herz und eine Seele sein zu wollen. „Freund,“ sagte Stephan, „ich kann die Fesseln an deinen Füßen nicht länger sehen. Lass mich einmal probieren, ob ich sie nicht sprengen kann.“ „Vielleicht ist das möglich,“ erwiderte Rasumow, „aber wenn es nicht so geschehen kann, dass ich sie wieder anlegen kann, wann ich will, dann muss es unterbleiben. Würde mein Herr mich ohne Fesseln antreffen, dann o wehe!“ Stephan mühte sich ab, dass der Schweiß über die Stirne herabrann, doch vergebens. Er konnte seinem Freunde nicht helfen und musste zusehen, wie Rasumow nur mit Mühe kleine Schritte machen konnte. –

Der Juni war zu Ende. Stephan und Rasumow trieben die Herde näher zur Jurta, um dem Herrn mitzuteilen dass ein anderer Weideplatz notwendig sie. „He, Stepan Kondratjewitsch, was Neues!“ – „Nun was denn?“ – „Siehst du dort die bunt aufgeputzten Kirgisen?“ „Ja wohl, das scheinen Beamte zu sein.“ – „Nicht doch, das sind Brautwerber. Bevor wir fortziehen, wird es also noch eine Hochzeit geben.“ „Ich wäre neugierig zu sehen, was für Gebräuche die Kirgisen haben.“ – „Diese Neugierde wirst du jetzt befriedigen können. Mir sind ihre Sitten schon bekannt, und ich werde dir alles erklären. Siehst du, jene fünf Mann mit den Federbüschen auf dem Kopfe sind Brautwerber. Sie haben bereits angefragt und die Erlaubnis erhalten, die Jurta unseres Herrn aufsuchen zu dürfen. Dass die Braut ihnen schon zugesagt ist, das kannst du daran abnehmen, was jene zwei Kirgisen dort an der Jurta tun. Sie schlachten einen weißen Hammel. Von diesem Hammelfleisch wird eine besondere Speise zubereitet, sie nennen sie „Kujrjuk baur.“ Sobald die Brautleute, die Eltern der Braut und Brautwerber davon gegessen haben, wird die Verlobung als vollkommen gültig betrachtet.“ Ungefähr nach einer Stunde war das Mahl bereit. Stephan bemerkte, wie die Brautwerber hin- und herliefen. Sie machten verschiedene Sprüche, schlugen Burzelbäume und drg. Er fragte deshalb Rasumow, was das zu bedeuten habe. „Weißt du,“ erklärte jener, „es ist bei den Kirgisen Sitte, dass die Brautwerber alles tun müssen, was die Gäste ihnen aufgeben. Wollte jemand von ihnen sich weigern, die Narrheiten der Gäste auszuführen, so würde er dem allgemeinen Hohngelächter überliefert. Die Brautwerber

trösten sich mit der Hoffnung auf Vergeltung. Nach dem Mahle nämlich dürfen sie den Kujrjuk baur herumreichen. Wie du nun weißt, haben die Kirgisen weder Messer, noch Gabel, noch Löffel. Statt dessen gebrauchen sie einfach Herrgottsgabel. Die Brautwerber nahmen also ein Stück Fleisch mit der Hand und legen es dem Gast in den Mund. Es macht ihnen nun das größte Vergnügen, wenn sie dabei dem Gast das ganze Gesicht mit Fett einschmieren können, ohne dass der Gast irgend etwas dagegen einwenden darf, widrigenfalls er sich der größten Unhöflichkeit schuldig machen würde. Hörst du das Gelächter? Es geht los.“ – „Hm! Würde der Brautwerber auch mir nur ein Stück fleisch bringen,“ sagte Stephan, „das Gesicht lässt sich ja reinigen, und der Magen würde zu knurren aufhören.“ Drei Tage nachher, schickte der Vater der Braut seinen Bevollmächtigten in die Jurta des Bräutigams, um die ausgedungene Mitgift in Empfang zu nehmen. Sie bestand aus fünfzig Hämmeln, zwei Paar Kamelen und zwei Pferden. Weil die Kirgisen wegen Mangel an Weide ihren Sitz verlassen mussten, so wurde die Trauung schon auf den nächsten Tag festgesetzt. Mit großem Gefolge kam der Bräutigam angeritten. Alsbald begannen die Schmausereien. Fünf Mann Kirgisen arbeiteten an der Jurta der Verlobten. Stephan und Rasumow mussten helfen. „Warum eilt ihr euch denn so?“ fragte Stephan. „Sonst baut man an der Jurta doch einen Monat lang?“ „Arbeite nur, Schmarotzer!“ erhielt er zur Antwort, „es sind nicht deine Sachen.“ Gegen Abend war die Jurta fertig. Die Brautleute mit den Gästen gingen hinein. „Na, da ist ja ein rotes Band daran,“ sagte Stephan, als ein aus der oberen Öffnung der Jurta

geschleuderter Knochen hart neben ihm fiel. „Das bezeugt die Geschicklichkeit des Bräutigams,“ erklärte Rasumow. „Weißt du, was die darin machen?“ - „Nun sie essen Hammelfleisch, trinken Kumys und werfen die Knochen heraus.“ „Das wohl. Allein das hat auch seine Bedeutung. Neben sich haben sie verschiedenen Zeug liegen, rotes blaues und anderes. Von jeder Sorte haben sie auch kurze Bänder, wie dieser da. Sie binden dieselben an die Knochen, und der Bräutigam muss sie zur Öffnung hinauswerfen. Trifft er nicht, so gehört das Zeug den anwesenden Frauen, trifft er, dann der Braut. Du kannst es dir denken, dass er sich alle Mühe gibt, damit kein Knochen in der Jurta bleibe, sonst käme er seiner Braut gegenüber in Verlegenheit.“ Die Schmausereien währten die ganze Nacht hindurch bis zum hellen Morgen. „Wann werden sie denn getraut?“ fragte Stephan weiter. „Getraut? Trauung? Hm! Die ist schon vorüber. Weißt du, wir haben ja in der Jurta zwei Vorhänge angebracht. Hinter dem einen sitzt die Braut, hinter dem anderen der Bräutigam, und in der Mitte hast du das Feuer brennen sehen. Des Bräutigams Vorhang wird aufgerollt, jener der Braut nicht. Ums Feuer platzieren sich die Eltern der Braut, zwei Zeugen und der Mulla oder sonst jemand, der lesen kann. Du hast gesehen, wie unser Herr einen Becher mitnahm, als er hineinging. Er gießt ihn voll Wasser und wirft ein Silberstück hinein. Der Mulla fragt nun, ob die beiden eine Ehe eingehen wollen. Die Antwort lautet: „Ja ich wollte.“ Darauf trinken alle aus dem Becher, und die Zeremonie hat ein Ende. Der Becher samt allem, was darin ist, gehört dem Mulla.“ Rasumow hatte noch nicht geendigt, als der Bräutigam heraus trat und zweien Kirgisen, die ein Pferd

führten, entgegen ging. Der Bräutigam, das Pferd am Zügel haltend, kam zurück vor die Türe der Jurta. Strahlend in ihrem reichsten Schmucke erschien die Braut aufs Pferd gehoben und ritt daher wie eine Königin. Auf der Brust funkelten mehrere Silbermützen, und um die Lenden schlag sich ein Gürtel aus Silbertrödeln. Die Kopfbedeckung sah einem Zuckerhut ähnlich. Oben an der Spitze glänzte eine Scheibe, rund wie eine Sonnenrose, von welcher ein langer weißer Schleier herabhing. Der Bräutigam, ebenfalls aufs schönste gekleidet, führte das Pferd vor die Jurta der Eltern der Braut. Wohl drei Dutzend Frauen bildeten das Geleite. „O du Unglückliche,“ seufzte Rasumow, „es ist dies dein einziger glücklicher Tag. Jetzt bist du einer Königin ähnlich, und morgen schon wirst du nicht mehr als eine Sklavin deines Mannes sein. O Kirgisenvolk, wann wirst du einsehen, dass die Frau ebenso ein Gebilde Gottes ist wie der Mann?“

Die Hochzeitsfeierlichkeiten waren zu Ende und damit auch die guten Tage der Braut. Sie war von nun an nur die Magd ihres Mannes. Das zeigte sich gleich beim Aufbrechen des Lagers. Da musste die Frau mehr schaffen als der Mann. Schon in aller Frühe war alles auf den Beinen. Stephan, Rasumow und die anderen Sklaven mussten selbstverständlich den größeren Teil der Arbeit verrichten. Die Jurten wurden schnell zusammengerissen und in Bündel geschnürt. Um Schutz gegen Sonne und Wind zu haben, wurden alle Wagen mit Striegeln versehen, die man mit Leinwand überzog. Nach einigen Stunden war alles Gepäck zusammengeschnallt und die Kamele damit geladen. Kleine

Kinder, die noch nicht reiten konnten, wurden in einen Sack gesteckt und auf den Dromedaren festgebunden oder auch an den Hals einer Kuh gehängt. Manches Tier hatte deren sogar zwei zu tragen. Endlich legten die Frauen die schönsten Kleider an und setzten sich in die Kibitka. Ein Pfiff des Führers, und der Zug setzte sich in Bewegung. Die Kirgisen sprengten auf ihren flinken Pferden in die Kreuz und Quer, laut singend, pfeifend, johlend und mit der Peitsche knallend. Wie eine große Nebelwolke erhob sich der wirbelnde Staub und vermischte sich mit dem von der Stirne herabrieselnden Schweißtropfen der Reitenden.

„Nun ade Heimat,“ sagte Rasumow, „ich werde dich wahrscheinlich nicht mehr sehen.“ – „Wo geht’s denn hinaus?“ – „Wie du siehst, nach Süden. Sie werden sicher den Fluss Emba überschreiten, weil sie in der dortigen Ebene Weide zu finden hoffen. Dann haben wir den Uralsee links und das Kaspische Meer rechts, vor uns aber die Turkmenen. Das gefährlichste Nest für uns ist die Stadt Chiwa, denn dort ist ein großer Sklavenmarkt, und wer weiß, ob wir auch nicht als gute „Ware“ ausgestellt werden.“ – „Handeln denn die Kirgisen mit Menschen?“ – „Sonst würden sie ja keine stehlen. Würden die verdorbenen Sarten und Turkmenen ihnen die Geraubten nicht abkaufen, dass würden die Kirgisen von den Sklaven keinen besonderen Nutzen haben. Mit einigen Hirten könnten sie sich begnügen. O dieses Volk!“ – „Ist denn niemand Herr über dieses räuberische Volk?“ fragte Stephan weiter, musste aber auf Befehl des Herrn sich an einen anderen Platz begeben und konnte die Antwort des Rasumow nicht mehr vernehmen. Erst nach fünf Tagen kam er

mit demselben wieder zusammen. Sie hatten die Emba erreicht. Hier in der Umgebung wollten die Kirgisen einige Zeit verweilen und schlugen deshalb ihre Zelte auf. Stephan und Rasumow mussten das Vieh hüten und richteten es so ein, dass sie beisammen sein konnten. „Ich weiß nicht,“ sagte eines Abends Stephan zu Rasumow, „wo wollen nur die Kirgisen hin? Wie ich gehört habe, soll es noch weiter nach Süden gehen, aber der Winter ist doch nicht ferne, und dann zurück?“ – „Na, weißt du denn nicht, dass die Kirgisen ein Wandervolk sind? Wo sie in diesen Steppen kommen, da sind sie zu Hause.“ – „Recht, du erinnerst mich jetzt daran. Ich habe schon einmal gefragt: Haben denn die Kirgisen keinen Herrn über sich?“ – „Gewiss, sie sind ja russische Untertanen.“ – „Was?“ rief Stephan, russische Untertanen und schleppen uns in die Verbannung? Ist das möglich?“ – „Nicht nur möglich, sondern auch wirklich,“ erwiderte Rasumow. „Die Kirgisen teilen sich in zwei Hauptgruppen: die Kaizaken und die Schwarzen oder Kara-Kirgisen. Erstere Gruppe zerfällt in drei Horden, wovon die unsrige die Westliche heißt. Schon vor 42 Jahren (anno 1734) musste der Chan unserer Horde die Oberhoheit Russlands anerkennen. Weitere Folgen hat aber diese Anerkennung nicht gehabt. Die Kirgisen schalten und walten nach wie vor, und dieses wird noch lange so fortgehen, wenn den Turkmenen nicht das Handwerk gelegt wird. Wer hindert die Kirgisen? Die ganze Strecke von Jaik (Ural) bis zur chinesischen Grenze betrachtet er als seine Heimat, wo ihm niemand etwas zu befehlen hat. In die Nachbargrenze, fällt er plündernd und raubend ein und spricht so jeder Untertänigkeit Hohn. Du machst dir des Winters wegen Sorge.“

Die Kirgisen denken nicht weiter daran, als dass sie hierher und noch weiter nach Süden ziehen, wo ihr Vieh mehr Futter finden kann, und setzen sich weiter keine Grillen in den Kopf. Das ganze Streben des Kirgisen läuft dahin, recht große Herde zu besitzen. Kann er sich dessen rühmen, dann ist er selig. Weil er aber um die Erhaltung seiner Herden nicht besonders besorgt ist, so geht ihm viel Vieh verloren. Wenn wir den Winter hier durchmachen, dann wirst du das selber erleben.“ – „Ganz gut,“ unterbrach Stephan, „aber woher nimmt er das Vieh?“ – „Hm! Er weiß sich zu helfen. Hast du vergessen, was die Kirgisen aus deiner Heimat mitgenommen haben? Mangelt es an Vieh, so roten sich mehrere Familien zusammen und ziehen auf einen Raubzug aus. Ein solches Unternehmen nennen sie „Baranta.“ Menschen und Vieh schleppen sie heim, und da ihnen das Vieh lieber ist als die Sklaven, so verhandeln sie letztere auf ersteres. Ich habe eine Ahnung, als ob wir das selber an uns erfahren werden. Zieht unsere Horde noch weiter nach Süden bis zur Ust-Jurta, dann möchte ich nicht mehr daran zweifeln.“ – „Mir ist es einerlei,“ erwiderte Stephan kalt, „schlechter kann ich es nicht mehr haben. Aas und Gedärme wird es wohl überall geben.“

Zwei Wochen waren seitdem vergangen. Ausgesandte Kundschafter kehrten zurück, und ihre eingezogenen Erkundigungen lauteten günstig. Sogleich wurde aufgebrochen, um in die Steppe Ust-Jurta zu ziehen, denn dort sollte der Winter verbracht werden. Stephan äußerte seine Freude darüber; denn, meinte er, wenn sein Herr ihn wirklich verkaufen sollte, so könnte er vielleicht dort einige Seelmänner treffen und mit ihnen sein Leid teilen. Schlechter könne es

nicht mehr gehen, behauptete er beständig. Als sie nun ihren neuen Aufenthaltsort erreicht und das Lager aufgeschlagen hatten, befahl der Herr, Stephan, Rasumow und anderen Sklaven zu binden. „Jetzt geht’s los“ sagte Rasumow, „mach dich bereit!“ – „Bin auf alles gefasst,“ sprach Stephan traurig, „nur ein Gedanken quält mich unaufhörlich. Wenn ich mir vorstelle, wir könnten getrennt werden, so geht mir jedes Mal ein Stich durchs Herz.“ – „Mir auch,“ setzte Rasumow hinzu, und beide beobachteten tiefes Schweigen. Aus den Reden der Kirgisen wurde ihnen klar, dass sie wirklich nach Chiwa auf den Sklavenmarkt gebracht werden sollen. Zwei Tage waren sie bereits gefesselt, als man sie von den Fesseln befreite und jeden ein Pferd besteigen hieß. Nun wurden ihre Füße unter dem Bauche des Pferdes fest angeschnallt und um ihren Leib ein starker Strick geworfen, der mit dem anderen Ende am Sattel der Kirgisenpferde befestigt war. So von zwei Reitern in die Mitte genommen, ging es nun im Galopp davon. Nur wenig Rast wurde den Pferden gegönnt. Besonders schwierig war der Ritt in der Sandwüste. Stephan staunte über die Ausdauer der Kirgisenpferde. Als sie die größte und schlechteste Strecke zurückgelegt hatten, wurde Halt gemacht. Die Sklaven durften nicht mehr reiten. Außer dem Strick um den Leib wurde ihnen noch ein solcher um den Hals gelegt und die Hände auf den Rücken gebunden. Dann setzten die Kirgisen wieder auf, und die Armen mussten hinterdrein laufen. Wenn sie nicht recht nachkamen, so schnürte sich die Öse am Halse zu und verursachte nicht geringe Schmerzen. Hätte die Hoffnung auf einen größeren Gewinn die Kirgisen nicht zurückgehalten, so hätten sie ihre Opfer zu Tode

geschleift. Nicht Menschlichkeit, sondern schnöde Habsucht war es auch gewesen, die die Kirgisen bewogen hatte, in der letzten Zeit die Sklaven besser zu füttern, damit sie ein volles gesundes Aussehen bekämen.

Die Sandwüste hatte ein Ende. Auf dem Boden zeigte sich Gras. In der Ferne kamen schlanke Pappeln zum Vorschein, hinter welchen mehrere Kuppeln auftauchten. „Gott sei Dank!“ rief Stephan, „wir sind nahe an der Stadt.“ So war es in der Tat. Nach einer halben Stunde hatten sie den Sklavenmarkt in Chiwa erreicht. Er lag mitten in der Stadt und war sehr belebt. „Um Himmels willen! Was macht man mit den Menschen hier“ rief Stephan erstaunt, als er nackten Sklaven reiheweis dastehen sah. „Das wirst du gleich erfahren,“ erwiderte sein Herr höhnisch. „Die Kleider ausgezogen! Geschwind!“ Stephan wollte noch dagegen Einsprache erheben, aber die fürchterliche Nagaika beraubte ihn der Sprache. Im Adamskleide musste er sich neben den anderen stellen und sich von den Käufern begaffen lassen. Zu seinem Glücke fand sich bald ein Sarte, der ihn kaufen wollte. „Ein tüchtiger Kerl,“ sprach der Kirgise, „erst vor einem Jahre aus Russland gebracht. Der kann dir die schwersten Arbeiten verrichten. Gesund und stark. Da befühle einmal seine Schulterknochen! Betrachte den Brustkasten, wie der so gehoben ist. Wirklich ein Arbeiter erster Klasse.“ „Wie hoch hast du den Preis für ihn gestellt?“ – „26 Ochsen und 10 Schafe.“ – „Sei gescheit, das ist doch viel zu viel. Dafür kann ich drei bis vier Sklaven kaufen.“ – „mag sein, aber nicht solche wie dieser da,“ prahlte der Kirgise, indem er Stephan recht unsanft auf die Schulter klopfte. „Kauf ihn nur, die 10


Schafe will ich schon nachlassen.“ – „Nimm 10 Ochsen, und wir sind einig.“ – „Gib 15!“ „Nimm 12!“ – „Einverstanden!“ Sie schlugen ein und der Handel war abgeschlossen. „O ihr Unmenschen!“ murmelte Stephan, „bin ich denn nicht mehr wert als zwölf Ochsen?“ Stephans Erwartungen, auf dem Sklavenmarkt Landsleute zu treffen, gingen in Erfüllung. Noch ehe er von dem Sarten gekauft worden war, hatte er die große Freude, seinen Bruder Martin zu finden. Der Kirgise hatte ihn soeben für sechsunddreißig Schafe verkauft. Die Brüder hatten nur so viel Zeit, dass sie sich begrüßen und verabschieden konnten. Stephan fragte den Turkmenen, welcher Martin gekauft hatte, wo er seinen Wohnsitz habe, und jener war auch so höflich und nannte sein Kaschlik. Sogleich ritt er fort und ließ Martin an einem Stricke nachlaufen.

Muhammed – so hieß Stephans neuer Herr – ließ seinen Sklaven im Garten arbeiten. Stephan staunte über den Reichtum seines Herrn. Dieser bewohnte einen schönen Palast. Eine Menge Sklaven bediente ihn. Er hatte nur einen Sohn und eine Tochter. Muhammed trieb Handel im Großen. Er besaß sechzehn Warenmagazine. Dazu einen Obstgarten von 30 Dessjatinen. Äpfel, Birnen, Kirschen, Weintrauben, Quetschen, Feigen, Johannisbrot und andere wurden darin gebaut. Bei der Ankunft Stephans zählte die Herde Muhammeds 900 Kamele, 8000 Schafe, 15 Esel, 80 Pferde und 200 anderes Stück Rindvieh. Mehr als hundert Knechte waren angestellt, um dieses Vieh zu versorgen. Mit einem Worte, Stephans Herr war ein grundreicher Mann. Worüber Stephan sich besonders freute, war dieses, dass er nun nicht mehr an Hunger und

Durst zu leiden hatte. Essen und Trinken wurde vollauf gegeben. Noch nie in seinem leben hatte Stephan einen so guten Tisch gehabt. Auch wurde er nicht grob behandelt. Die Arbeiten im Garten waren auch nicht schwer, so dass Stephan mit seiner Lage ganz zufrieden war. Hätte er nicht Heimweh und das Verlangen, mit seinem lieben Bruder zusammen sein zu können, gefühlt, dann hätte er nichts mehr zu wünschen übrig gehabt.

Nachdem Stephan sich den ganzen Garten und das neben demselben gelegene Ackerland angesehen hatte, war es ihm klar, auf welche Weise, die Stadt Chiwa und ihre Umgegend eine Oase in der Sandwüste geworden sei. Die Einwohner von Chiwa hatten nämlich eine künstliche Bewässerung des Ackerlandes eingeführt. Aus dem Flusse Amu-Darja war ein Hauptkanal in verschiedenen Bindungen durchs ganze Land geführt, aus dem unzählige Nebenkanäle – Arlyki genannt – abgeleitet wurden. Muhammen unterhielt diese Arlyki auf eigene Kosten, darum war das Ackerland auch sein Eigentum, das bemerkte Stephan im nächsten Frühjahr. Die Kanäle sind so eingerichtet, dass ein jeder Wirt so viel Wasser auf sein Sand laufen lassen kann, wie er braucht. Im Herbst werden alle Nebenkanäle verschlossen. Der Winter ist äußerst gelinde, und schon anfangs Februar zieht der Frühling ins Feld. Um ersten Frühlingstage bemerkte Stephan auf dem Marktplatze einige hundert Paar Ochsen stehen. Ein jedes Paar war vor einen Pflug gespannt und nebenbei stand ein Sklave. Stephan erkundigte sich über die Bedeutung dieser seltsamen Erscheinung, und man erklärte ihm die Sache so. „Die meisten Einwohner von Chiwa besitzen kein Eigenland. Nur solche

Krösus, wie dein Herr einer ist, haben eigenen Boden. Von dem gemeinschaftlichen Lande wird einem jeden so viel zugeteilt, wie er braucht und bearbeiten kann. Um dieses zu erfahren, muss ein jeder, der aussäen will, seine „Kosch,“ d.h. ein Paar Ochsen mit dem Pflug und einem Knechte, auf den Markt bringen. Je mehr Kosch jemand aufstellt, desto mehr Land bekommt er auch. Übrigens ist der Ackerbau unser letztes Geschäft; denn es bringt nicht viel ein. So ein Garten, wie dein Herr hat, das ist die Quelle des Reichtums. Ach, was da für ein schöner Teich in der Mitte ist! Und diese prachtvollen Pappeln und Weiden, die ihn umkränzen, wer sollte daran nicht sein Wohlgefallen haben? Glücklich ist doch dieser Muhammed!“ –

tephan arbeitete sehr fleißig, war überaus pünktlich und bestrebte sich, den Befehlen seines Herrn in allem bis aufs genaueste nachzukommen. Diese guten Eigenschaften entgingen der Beobachtung seines Herrn nicht. Muhammed erlaubte ich, frei umherzugehen, und vertraute ihm mehreres an. Als nun Stephan einstens durch die Stadt schlenderte, hörte er ein herzzerreißendes Geschrei. Schnell schlüpfte er durch das kleine Türchen in den Hof, aus welchem das jammern an sein Ohren drang, und wäre beinahe vor Schrecken in Ohnmacht gefallen. Drei Muhammedaner hatten einen Sklaven blutig gegeißelt. Damit noch nicht zufrieden, marterten sie ihn noch auf die unmenschlichste Weise. Zwei von ihnen hatten Pfriemen und Lederriemen in den Händen und nähten die Arme des Sklaven an seinen Leib fest. Stephan bat um Schonung, die Bluthunde hießen ihn aber

fortgehen, wenn er nicht haben wolle, dass es ihm auch so ergehe. Eilig ging Stephan nach Hause und meldete den Vorfall dem Oberaufseher, indem er ihn bat, doch der Obrigkeit davon Anzeige zu machen. Der Oberaufseher lächelte und hatte nur die Bemerkung: „Das war doch ein Sklave, und mit dem kann sein Herr verfahren, wie er will.“ Auf Stephan hatte diese unmenschliche Tat einen solchen Eindruck gemacht, dass ihm den ganzen Tag das Essen nicht schmeckte. Er tröstete sich mit dem Gedanken, was er gesehen habe, sei nur ein einzelner Fall, doch bald wurde er enttäuscht. Je öfter er in die Stadt kam, desto mehr Grausamkeiten wurde er gewahr. Er sah, wie man armen Sklaven die Augen austach, sie auf den Pflock setzte oder auf eine andere schauerhafte Weise marterte. Auf dem Sklavenmarkte traf er Russen, Polen, Inder, Araber, Tscherkessen, Griechen, Armenier, Zigeuner, Mordwiner und Deutsche. Ihr Elend ging ihm sehr zu Herzen, und wem er in seinem Abendgebete jener Unglücklichen gedachte, dann rollten öfters Tränen über seine Wangen.

Freitags war das Geschäft des Muhammed geschlossen, weil dieses der Ruhetag der Muhammedaner ist. Da Stephan also von den Arbeiten frei war, so machte er in diesen Tagen sich Notizen über seine Erlebnisse. Einmal sah ihn sein Herr schreiben und sprach zu ihm: „Stephan, kannst du lesen und schreiben?“ – „In meiner Sprache wohl, gnädiger Herr,“ antwortete Stephan, sich tief verbeugend. „Nun gut,“ sagte sein Herr darauf, „ich werde dich in die Lehr abgeben, damit du auch in unserer Sprache lesen und schreiben lernst.“ Das war Stephan von der Seele gesprochen. Mit eisernem Eifer

widmete er sich dem Unterricht. Im Verlaufe von einem Jahre hatte er es so weit gebracht, dass er alle Geschäftspapiere und Rechnungen ohne fremde Hilfe ausfertigen konnte. Nachdem er eine kurze Zeit Budensteher gewesen war, ernannte ihn sein Herr zum Oberaufseher über alle Magazine und über alle Dienenden. Stephan fühlte das Geschäft sehr ehrlich und mit sehr großer Geschicklichkeit. Muhammed vertraute ihm sein ganzes Vermögen an. Alle ohne Ausnahmen hatten ihm zu gehorchen. Selbst sein Herr holte sich öfters Rat bei ihm und verfuhr darnach. Das erste, was Stephan als Oberaufseher tat, war, dass er seine Stellung zu Gunsten seines Bruders ausnützte. Eines Abends, als Muhammed ihm seine Befriedigung über die Geschäftsführung aussprach, sagte Stephan zu seinem Herrn: „Habe ich Gnade gefunden in den Augen meines Herrn, so will ich es wagen, seiner Gnaden mitzuteilen, dass sein Knecht und Diener noch einen Bruder hat. Derselbe ist nicht weit von hier bei einem Turkmenen. Will mein Herr der Trost meines Lebens werden, so mag er gestatten, dass sein Diener hingehe und seinen Bruder auch hierher führe.“ – „Es steht in deiner Macht,“ erwiderte Muhammed, „tue, wie dir beliebt, und wenn es auch zwei Russen kosten sollte.“ Stephan stammelte Dankensworte und ließ sogleich sein Reitpferd satteln. Im voraus die Freude des Wiedersehens fühlend, ritt Stephan in vollem Galopp zur Kibitka des Turkmenen, bei dem sein Bruder als Sklave diente. Er musste an einem hohen Berg vorbei. Da stieg er ab und führte sein Pferd eine Strecke am Zügel. Doch was war das? Es funkelte da ein Stein. Stephan hob ihn auf und sah, dass es ein großer Goldklumpen war. Er

steckte ihn ein und dachte nicht weiter daran, da seine Gedanken nur bei seinem Bruder weilten. Glücklicherweise fand er die Kibitka des Turkmenen. Martin war nicht zu Hause, er hütete die Schafe im Felde. Als er gegen Abend nach Hause zurückkehrte, lief Stephan ihm entgegen. Beide küssten sich und weinten vor Freude. Nun ging es ans Handeln. Stephan bot dem Turkmenen einen Russenknaben für seinen Bruder an. Der Turkmene ging darauf ein, nur stellte er die Bedingung, er wolle selber einen aus vier herauslesen. Das konnte Stephan leicht zugeben, und das „Geschäft“ war abgemacht. Am anderen Morgen ritten die drei in die Stadt (Chiwa) zu Muhammed. Stephan lies vier Russenknaben rufen und stellte sie dem Turkmenen zur Auswahl vor. Dieser befühlte und betastete einen nach dem anderem und wählte schließlich den besten, einen Mann in den dreißiger Jahren. Stephan und Martin waren überaus froh und erzählten einander ihre Erlebnisse.

Zuerst musste Stephan ausführlich auseinandersetzen, auf welche Weise er zu so hohen Ehren gelangen sei. „Du gleichst ja dem ägyptischen Joseph,“ sagte Martin, als sein Bruder mit der Erzählung geendet hatte. „Aus einem Sklaven bist du Oberaufseher geworden.“ – „Darin besteht allerdings eine kleine Ähnlichkeit zwischen uns beiden,“ scherzte Stephan, „nur fehlt mir noch die harte Prüfung.“ – Nun die kann noch kommen,“ schloss Martin lachend, ohne auch nur im geringsten zu ahnen, dass er in diesem Falle Prophet wäre. - Stephan war zu ehrlich, als dass er seinem Herrn von dem Funde am Berge nicht mitgeteilt hätte. Doch wie erschrak dieser beim Anblicke des Goldklumpen. „Schnell vergrabe das

Gold," sprach er mit bebender Stimme, „und sage keinem Menschen etwas davon; denn wenn das die Russen erfahren, dann werden sie unser Land gleich einnehmen. Unser Chan hat es streng verboten, irgendwie zu verraten, dass in unserem Lande Gold ist.“ – „Der Chan hat es verboten!“ Stephan wusste, was das zu sagen hatte. Mehr als einmal war er Zeuge gewesen, wie die armen Untertanen des Chan wegen geringfügige Verstöße gegen seine Verordnungen dem schrecklichen Qualen unterworfen wurden. An Rettung war nicht zu denken, wenn jemand erst in die Hände des Tyrannen gefallen war. Stephan hatte deshalb nichts Eiligeres zu tun, als das Gold ungesehen zu vergraben. Seinem Bruder legte er das tiefste Stillschweigen auf.


Zwei Wochen waren seither vergangen. An einem Freitage saßen Stephan und Martin in Garten und unterhielten sich. „Bruder," hob Martin an, „ich will dir nun noch etwas ausführlich erzählen, was ich bei meinem früheren Wirt erlebt habe, Es ist schauderhaft, aber deshalb nicht minder wahr.“ Seine Stimme zitterte. Die Erinnerung an das Erlebte presste ihm Tränen aus. Stephan wurde neugierig. „Lass die Weichlichkeit," sprach er scheinbar ungeduldig, „und erzähle, wie es dir ergangen ist!“ Martin fasste sich und begann also. „Außer mir hatte mein Herr noch zwei Sklaven: ein Russenmädchen und einen Tscherkessen. Ich und das Mädchen, wir mussten die Schafe hüten, und da kannst du dir denken, dass wir bald sehr bekannt wurden. Je länger wir beisammen waren, desto lieber hatten wir uns. Wir scherzten so fröhlich, als wenn wir zu Hause gewesen wären.

Gegenseitig sprachen wir uns Trost zu und vergaßen dabei, dass wir Sklaven waren. Sie gefiel mir, und ich ihr auch. Dieses machte den Tscherkessen verdrießlich. Er wollte das Mädchen durchaus für sich gewinnen. Wenn er aber sich neben sie setzte, lief sie davon und kam zu mir. Wollte er ihr ins Gesicht schauen, so drehte sie ihm den Rücken zu. Dargebotene Geschenke (ein rotes Tuch und ein weißes Band) wies sie zurück, und Höflichkeiten erwiderte sie nicht. Der Tscherkesse kam außer sich vor Zorn. Er machte mir harte Vorwürfe und schimpfte mich tüchtig. Ich verstand wenig davon, blieb ihm aber in dieser Sache nichts schuldig. So stritten und verhunzten wir uns oft, in der letzten Zeit jeden Tag und jedes Mal, wenn wir uns begegneten. Unserem Herrn wurde das bekannt, er kümmerte sich aber wenig darum. Die Frau meines Herrn war schon lange krank. Alle möglichen Arzneien hatte sie schon angewandt. Was immer nur jemand ihr anriet, das hatte sie pünktlich erfüllt. Doch keine Besserung. Da der verschmutzte Tscherkesse auf eine andere Weise mich nicht verderben konnte, so wollte er die Krankheit der Frau dazu benützen.“ Hier musste Martin seine Erzählung unterbrechen und den Tränen freien Lauf lassen. Nachdem die Aufregung sich wieder gelegt hatte, fuhr er fort: „Der Tscherkesse bat den Herrn, er möge ihn einmal in sein Zimmer kommen lassen, weil er ihm etwas sehr Wichtiges mitzuteilen habe. Man ließ ihn eintreten. Da verneigte sich der Heuchler dreimal tief zur Erde und tat seinen Mund zum Lügen auf. „Wie wenn der Kasbek im Kaukasus auf meinen Herzen läge,“ sprach er, „so drückt mich das Elend meines allerbesten Herrn und Gönners. Wie der Wind den Sand der Wüste empor

wirbelt und das Licht der Sonne verdunkelt, so betürmen unzählige Sorgen mein Gemüt um das Wohl des teuersten Gutes, um die Rose, die die ganze Umgegend mit ihrem lieblichen Dufte erfüllt. Möge deshalb der erhabenste Gebieter mir, seinem Wurme, gestatten, eine Arznei anzuraten, für deren Erfolg ich gut stehen kann. Nur eines, Du glänzendster der Himmelssterne, kann Deine Rose vor dem Vertrocknen bewahren, und diese Einzige ist – Christenfleisch! Meine Lippen sollen vertrocknen, und meine Zunge sich in einen Dorn verwandeln, wenn ich nicht die Wahrheit rede. Befiehl, o Herr, dass wir den Christensklaven, den Deutschen schlachten, das Fleisch einsalzen, und wenn es durch gesalzen ist, deiner Rose zum Essen geben, und dann wird sie frisch wie im Frühlinge werden.“ Nachdem er noch einmal seine Angabe hoch beteuert hatte, trat er ab, sich tief verneigend. Der Herr machte seiner Frau sogleich Mitteilung darüber, und letztere äußerte den Wunsch nicht ich, sondern das Russenmädchen solle geschlachtet werden. „Dann,“ fügte sie hinzu, „wird auch der Streit zwischen diesen ein Ende haben. Ob das Fleisch von einem Manne oder von einer Frau ist, das wird sicher einerlei sei.“ Niemand war froher als der Tscherkesse, als der Herr ihm befahl, die Messer zu schleifen; denn am folgenden Morgen sollte geschlachtet werden. Natürlich meinte der Unmensch, meine Haut stehe auf dem Spiel. Kaum war der Tag angebrochen, so musste ich unseren Nachbar rufen, der sollte uns helfen. Was für ein saueres Gesicht machte aber der Tscherkesse, als er den Befehl vernahm, das Russenmädchen solle umgebracht werden. Ach wie war mir da zu Mute! Ich wäre für sie in den Tod

gegangen, wenn dieser nicht so schrecklich drein geschaut hätte. O dieses arme Mädchen! Wie sah sie so blass aus! Sie war bereits halbtot, noch ehe das Messer des Mörders ihr Herz berührte. Ich musste sie an den Füßen halten, der Nachbar drückte ihren Kopf fest an die Schlachtbank, und der Tscherkese stach ihr ins Herz. Ich hörte noch den Schmerzensschrei, was weiter geschah, davon weiß ich nichts, denn mich überfiel eine Ohnmacht. Als ich zu mir kam, war die Tote schon bei Seite getragen. Das Einsalzen des Fleisches überließ ich den Tscherkessen allein, versteckte mich und weinte so bittere Tränen, wie noch nie in meinem Leben. Jeden Tag fragte die Frau, ob das Fleisch noch nicht durch gesalzen sei. Als man ihr endlich ein Stück brachte, griff sie hastig zu. Kaum aber hatte sie einen Bissen genossen, da fiel sie um und war tot! Mein Herr war untröstlich. Er bejammerte seine Frau und schimpfte und verfluchte den Tscherkessen bis in den tiefsten Abgrund. „Du Ausgeburt aller Schlechtigkeit,“ fuhr er ihn an, „du bist schuld an dem Tode des Russenmädchens und auch die schönste unter allen Haremshüterinnen hast du unter die Erde gebracht. Nicht wert bist du mehr, dass Allah dich von der Sonne bescheinen lässt. Gallei, (so wurde ich genannt) rufe den Nachbar!“ Dieser kam. „Bindet den schlechtesten aller Erdenkinder an den Baum, und du Gallei, zerspalte ihm mit diesem Beile da den Kopf!“ ich musste tun, wie mir befohlen war. Glaube mir, als ich mit der Axt ausholte, um dem Tscherkessen den Todesstreich zu versetzen, da war es mir, als ob der Himmel und die Erde durcheinander rinnen. Hören und Sehen verging mir, doch schlug ich nicht fehl. Fuh! Es war schauderhaft. Matt sanken meine Arme nieder, und die

Beine versagten ihren Dienst. Gott verzeihe mir und meinem Herrn!“

tephan war in seinem Arbeitszimmer und hatte soeben die Jahreszahl 1162 nach muhammedanischer Zeitrechnung in das Handelsheft eingetragen, und ihr die christliche Zeit – das Jahr des Heils 1784 – hinzugefügt, als ihn Muhammed zu sich rufen ließ. Muhammed saß auf einem schönem Teppich. Im Nebenzimmer stand der Sklave mit dem Kaffee bereit. Kaum hatte Stephan sich niedergelassen und die vom Herrn dargereichte Pfeife angeraucht, so begann sein Gebieter in sehr ernstem Tone: „Acht Jahre hast du mir nun getreu gedient, mein lieber Sohn!“ Stephan staunte; denn so hatte ihn sein Herr noch nie angeredet, trotzdem Muhammed ihn stets als seinen eigenen Sohn behandelt hatte. Sein Gebieter warf einen prüfenden Blick auf Stephan und fuhr dann fort: „Wie du weißt, habe ich dir schon lange mein ganzes Vermögen anvertraut. Und mir ist es bekannt, dass du mein Vertrauen nie missbraucht hast. Ehrlich und redlich hast du deine Pflichten erfüllt, dafür will ich dich jetzt herrlich belohnen. Nimm meinen Glauben an, und du sollst mein Sohn und der Erbe meines ganzen Vermögens sein.“ Stephan war wie vom Blitze getroffen. „Mein Herr und Gebieter!“ stammelte er, „du hast soeben selbst gesagt, dass keiner deiner Befehle von mir unerfüllt geblieben ist. Nie habe ich dir etwas veruntreut, nie war mir ein Dienst für dich zuviel. Überaus geehrt fühle ich mich auch, dass du mich zum Erben deines großen Vermögens einsetzen willst, aber glaube mir, der Preis, welchen du von mir dafür

verlangst, ist zu hoch. Ich kann ihn nicht liefern. Verlange alles von mir, nur nicht meinen hl. Glauben.“ – „Was?“ brauste Mihammed auf, „Ich hatte geglaubt, du würdest aus Dank für meine Großherzigkeit mir zu Füßen fallen und meinen Wunsch erfüllen, und du widersprichst? Doch ich will Milde statt Strenge walten lassen. Nimm meinen Glauben an, und ich gebe dir meine einzige Tochter, die schöner ist als die Rose zu Jericho, zur Frau und mache dich zum Erben alles dessen, das du bis jetzt nur verwaltet hast.“ – „Herr, alles was du willst, nur meinen Glauben verleugnen, das kann ich nicht.“ – „So!“ schrie Muhammed aus vollem Halse und sprang hinaus. „Bringet Ruten vom Schlehstrauch her!“ rief er mit wahrhaft donnernder Stimme den Sklaven zu. Wie aus einer Kanone fortgeschossen liefen vier Mann davon, um das Verlangte herbeizuholen. „Zieh dich aus und lege dich auf dieses Brett hier!“ brüllte Muhammed Stephan an. Dieser wusste wohl, dass es besser sei, zu gehorchen, als sich zwingen zu lassen und tat, wie ihm befohlen. Die Sklaven waren ganz erstaunt, dass ihr Oberaufseher gepeitscht werden sollte. „Schlagt drauf los!“ befahl Muhammed. Zwei Männer griffen die stacheligen Ruten und ließen sie aus voller Kraft auf Stephan niedersausen. Mit düsterem Blicke schaute Muhammed zu und gebot die Marter nicht eher einzustellen, bis der Rücken Stephans nur eine Wunde war. „Stephan auf!“ rief er endlich. Dieser rührte sich nicht – er war besinnungslos. Muhammed gab Befehl, ihn ins Krankenhaus zu tragen und für eine gute Verpflegung zu sorgen, damit er nicht sterbe. Drei Monate musste Stephan hier zubringen, bis er geheilt war. Nun ließ sein Herr ihn wieder kommen und stellte

dieselbe Forderung. Stephan weigerte sich abermals. „Nun gut,“ erwiderte Muhammed, „ich gebe dir zwei Wochen Bedenkzeit. Wenn du auch dann meinem Wunsche nicht entgegenkommst, dann werde ich die ausgesuchtesten Foltern in Anwendung bringen.“ –

Weinend suchte Stephan bei seinem Bruder Martin Trost. Anstatt dessen wurde dieser für ihn die gefährlichste Klippe. „Bruder Stephan,“ sagte Martin, „nimm den Islam an, aber nur zum Scheine. Im Herzen brauchst du ja unserem Glauben nicht abzuschwören. Nur um dein und mein Leben zu retten, machst du so, als ob du ein Muhammedaner werden wolltest. Der Wüterich,“ fügte er leise hinzu, „isst ja schon alt und wird sicher nicht mehr lange leben. Ist er einmal ins jenseits abgereist, dann bist du wieder eigener Herr auch über deinen Glauben.“ – „Was du faselst,“ entgegnete Stephan, „es ist nicht erlaubt, auch bloß äußerlich den Glauben zu verleugnen.“ – „Befolge meinen Rat,“ unterbrach ihn Martin, „und bewahre uns beide vor dem Verderben.“ Ohne ein Wort darauf zu antworten, ging Stephan in seine Wohnung und warf sich auf sein Lager. Er fing an, über seine missliche Lage nachzudenken. Vielleicht habe Martin doch recht. Im Herzen werde er je immer ein wahrer Katholik bleiben, und um beide vor dem sicheren Tode zu bewahren, wird es wohl auch keine Sünde sein, sich als Muhammedaner zu stellen. Doch da kam ihm in den Sinn, was der Pater in der Abschiedsrede in Lübeck gesprochen hatte. „Wer mich vor den Menschen verleugnet, den will auch ich vor meinem Vater verleugnen, der im Himmel ist,“ so steht es ja in der hl. Schrift geschrieben. Und der hl. Apostel Paulus, was schreibt der? Hat er wohl gewusst,

dass diese Versuchung über mich hereinbrechen werde? Sagt er doch: „Mit dem Herzen glaubt man zur Gerechtigkeit, und mit dem Munde geschieht das Bekenntnis zur Seligkeit.“ Nein, nein, ich kann nicht, ich werde nicht. Aber Gott ist doch barmherzig, er wird mir verzeihen. Pfui! Stephan, willst du wohl vermessenlich auf Gottes Barmherzigkeit sündigen? O! was soll ich nur anfangen? So unglücklich wie ich, ist noch niemand gewesen. Wie niemand? Denke an den Apostelfürsten. Ihn hat nur eine Magd gefragt, ob er ein Jünger des Herrn sei, und er hat es geleugnet. Und ich? Ich habe es mit einem Tyrannen zu tun. Der mich sicher umbringen wird, wenn ich ihm nicht folge. Huh! Was denke ich? Petrus soll mir ein Beispiel eines Büßers sein, und ich will ihn für meine Verleugnung gleichsam verantwortlich machen? Nein, das geht nicht... Nein und meines Bruders Leben steht auf dem Spiel. Martin hat sein Leben für mich gewagt, als er freiwillig aus Liebe zu mir in die Verbannung ging. Muss ich ihn jetzt nicht retten? Muhammed ist ja alt. Wer weiß. Ob er noch das künftige Frühjahr erlebt. Dann bin ich Herr. Was kann ich da nicht für Gutes stiften! Alle deutschen Sklaven kann ich gleich zu mir nehmen und schließlich in die Heimat befördern. Im Katechismus heißt es ja, dass „die Gefangenen erlösen“ ein Werk der leiblichen Barmherzigkeit sei. Doch der Gedanke: „Wer mich vor den Menschen verleugnet wird, den werde ich auch vor meinem Vater verleugnen, der im Himmel ist“ schwebte ihm beständig vor. So stritten sich um Stephan der gute und böse Geist noch eine Weile. Der Schweiß rann Stephan über die Stirne. Er erhob sich und ging auf den Hof. Es war gegen Mitternacht. Volle Stille herrschte ringsum. Nur

eine Grille zirpte unaufhörlich. Stephan war es zu Mute, als wenn die Grille über seine Schwäche wehklagen würde. Er schaute gegen Westen an den Horizont, sein Geist ging aber weit darüber hinaus, er floh bis zu seiner Mutter in Seelmann. Lebt sie noch? Vielleicht ist sie schon im Himmel. Was würde sie sagen, wenn sie jetzt mit mir sprechen könnte? Plötzlich erschien an der Wand eine verschleierte Frauengestalt. Stephan glaubte, seine Mutter erscheine ihm, und stieß einen Schreckensschrei aus. Die Sklavin verneigte sich und stammelte Worte der Entschuldigung. Unzufrieden mit sich selbst, ging Stephan hinein und setzte sich auf sein Bett. „Was denke ich eigentlich? Ich werde doch meinen Glauben nicht verleugnen? Gewiss nicht. Aber die Folter? Die ausgesuchtesten Marter? Nun ich bin ja nicht der erste, der sie erleiden soll. Wie viel Märtyrer gibt es! Halt, das waren Heilige. Und ich? Ich bin ein großer Sünder. Wäre nur ein Priester da, dass ich beichten könnte. Hm! Was kann das für ein Verbrechen sein, wenn ich mich äußerlich stelle, als ob ich an den Islam glauben würde?“ Der Stachel des Gewissens bohrte aber wieder mit dem Anspruch des hl. Geistes: „Mit dem Herzen glaubt man zur Gerechtigkeit, und mit dem Munde geschieht das Bekenntnis zur Seligkeit.“ Stephans Herz klopfte so stark, dass er dessen Schläge zu hören glaubte. Er stand auf, trank ein paar Schluck Wasser und verließ abermals das Zimmer. Im Osten fing es an zu grauen. Stephan wurde es leichte auf dem Herzen. Er überlegte schon, was für Geschäfte er an dem heutigen Tage verrichten wolle. Seine Gedanken kreuzten sich aber und wollten gar nicht so klar werden, wie gewöhnlich. „Wäre nur Muhammed nicht auf den

abscheulichen Einfall gekommen. Wie zufrieden würde ich sein!" Er ging durch den Hof auf die Straße. Noch war alles im Schläfe. „Wie glücklich sind die Menschen, die so ruhig schlafen können! Und ich? O wäre dieser Tag nie für mich angebrochen.“ So sehr sich Stephan auch zu beruhigen suchte, er konnte den inneren Zwiespalt nicht entfernen. Es verging eine Stunde nach der anderen, und Stephan glaubte dem Tod schon ins Antlitz zu sehen. Martin kam zu ihm, fiel auf die Knie und bat mit herzerreißender Stimme, Stephan möge doch seinen Rat befolgen und nicht etwa durch seine Weigerung beide dem Würgeengel des Todes übergeben. Muhammed ließ ihn rufen. Stephan zitterte am ganzen Leibe. Martin folgte ihm und flüsterte unaufhörlich: „Stephan, tu´s doch! Bruder, rette uns, sonst sind wir verloren!“ – „Nun willst du noch dein Glück mit Füßen von dir stoßen?“ fragte Muhammed barsch. „Herr, ich kann deinem Befehle nicht gehorchen.“ „Nehmet ihn, zieht ihn nackt aus und bestreut seinen Leib mit glühenden Kohlen so lange, bis er zustimmt!“ – „Herr, lass das, vielleicht...“ „Nichts da! Entweder oder?“ – „Wenn´s dann sein muss, so will ich deinen Willen tun.“ – „Das will ich glauben. Von nun an bist du mein Sohn und Erbe. Sogleich musst du dich der Vorschrift unserer Religion unterwerfen, um ihr Kennzeichen anzunehmen. Komm, ich geh´ mit dir, du musst beschnitten werden.“ Das geschah. Muhammed traf gleich die Vorbereitungen zur bevorstehenden Hochzeit. Stephan ließ nun alles geschehen. Er konnte sich keine Rechnung über seine Handlungen geben. „Warum habe ich das getan?“ fragte er sich. „Ich muss alles widerrufen.“ Kam aber der geeignete Augenblick dazu, dann

besaß er nicht Mut genug, um auszusprechen, was er im Herzen dachte. Martin war froh und wandte alle seine Beredsamkeit auf, um in das verwundete Herz seines Bruders ein wenig Balsam zu tröpfeln. Stephan wurde von Tag zu Tag gleichgültiger und dachte sogar schon an die Hochzeit. Als er nun noch eins Abends eine längere Unterhaltung mit seiner Braut im Verborgenen gehabt und ihr Antlitz gesehen hatte, da schwand auch der letzte Widerstand. Der innere Feind – die Leidenschaft – siegte über jedes Bedenken und erstickte vorübergehend die Stimme des Gewissens.

Muhammed trug alle Sorge, um die Hochzeitsfeierlichkeiten seiner einzigen Tochter¹⁹⁾ so großartig wie nur möglich zu machen. Zahlreiche Teppiche und Fähnchen wurden ausgewählt und bereit gelegt. Außerordentlich groß war die Zahl der geladenen Gäste. Muhammed galt in ganz Chiwa und in der Umgegend als ein Krösus. Jünglinge aus den vornehmsten Familien hatten um die Hand seiner Tochter werben lassen, waren aber abgewiesen. Nun war dieselbe einem gewesenen Sklaven verlobt. Die bevorstehende Hochzeit bildete daher den Gegenstand des Gesprächs bei hoch und niedrig. Stephan war der Tagesheld. Die unzähligen Glückwünsche wurden ihm schließlich lästig, und er war froh, als endlich der Hochzeitstag anbrach. Der Bruder Muhammeds hatte ihn genau unterrichtet, wie er sich anzustellen habe, damit er nicht gegen die durch Gewohnheit hergebrachten Gebräuche verstoße. Am

¹⁹⁾ Sein einziger Sohn war kurz nach der Ankunft Stephans gestorben.

Hochzeitstage trug Stephan ein neues bis auf die Knöchel herabhängendes Kleid. Um die Lenden zog sich ein weißer Gürtel, und das Haupt war mit einem schönen, großen Turban geziert. Etwas abweichend von der hergebrachten Gewohnheit schloss er erst am Morgen des Hochzeitstages mit seinem Schwiegervater in Gegenwart dreier Zeugen den Ehekontrakt ab, ohne das seine Braut dabei gewesen wäre. Anstatt eine Karawane Kamele, beladen mit der Mitgift der Braut, zur Schau auf der Straße daherfahren zu lassen, waren auf dem Hofe und auf dem nahe gelegenen Marktplatze allerhand Waren aus den Buden Muhammeds ausgestellt. Muhammed hatte ja alles an seine Tochter und an ihren Mann abgetreten. Die Neugierde hatte mehrere Tausende Zuschauer herbeigeführt. Gegen Abend wurde die Braut unter feierlichster Prozession in die Wohnung des Bräutigams abgeführt. Diese befand sich zwar in demselben Hause, doch musste die Braut auf der Straße um die Ecke biegen. Die sie begleitenden Frauen schienen außer sich vor Freude. Sie trillerten, jubelten und riefen, als sollten sie die ganze Stadt in Kenntnis setzen, dass sie die Tochter Muhammeds in den Harem abführen. Sobald letzteres geschehen war, begann das Hochzeitsmahl. Die Männer waren von den Frauen getrennt. In ihrem Saale hörte man nur ein summendes Gemurmel, wogegen aus demjenigen der Frauen trillernde Töne hervordrang. Die Musik war höchst einfach und diente hauptsächlich nur dazu, um die Gäste zu empfangen. So oft ein neuer Gast erschien, wurde immer dasselbe Stück wiederholt. Das Mahl endigte schon spät in der Nacht. Tief verschleiert verließen alle Frauen den Harem der Braut. Es

war der Zeitpunkt gekommen, wo Stephan zum erstenmal das Angesicht seiner Braut sehen sollte, wie Muhammed meinte, obwohl dieselben heimlicherweise mit einander Blicke gewechselt hatten. „Gib acht!“ sprach Muhammeds Bruder zu Stephan, „wenn du jetzt zur Braut kommst und sie entschleierst, dann musst du einen sehr lauten Freudenruf ausstoßen. Dasselbe gilt als Zeichen, dass die Braut dir von Herzen gefällt. Vergiss es nicht, denn sonst könnte Muhammed dir zeitlebens zürnen.“ Stephan begab sich in den Harem (Zimmer) der Braut. Sie saß auf vielen Kissen, ganz weiß gekleidet und vollständig verschleiert. Auf dem Hofe und auf der Straße herrschte die vollkommendste Stille, obwohl eine Menge Gäste und andere Leute da zusammen waren. Alle harrten auf den wichtigsten Augenblick – sie warteten auf den Freudenruf des Bräutigams. Wird sie ihm gefallen oder nicht? das wollte ein jeder wissen. Noch ein Augenblick, und der Freudenruf des Bräutigams brauste zum Fenster hinaus.²⁰⁾ Von Tausenden Kehlen wurde er aufgegriffen und fortgepflanzt. Jeder schrie, so sehr er nur konnte. Der Lärm dauerte eine Viertelstunde, wurde immer geringer, bis schließlich sämtliche Gäste das Hochzeitshaus verlassen hatten. Muhammed ging zu Stephan, und die drei setzten noch lange ihr munteres Gespräch fort. –

²⁰⁾ Merke dir diese uralte morgenländische Sitte. Sie dient dir zum Verständnisse der Stelle in der hl. Schrift bei Johannes, (Kap. 3 Vers 29): „Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam, der Freund des Bräutigams aber, der steht und höret, freuet sich hoch über die Stimme des Bräutigams.“

In der ersten Zeit nach der Hochzeit schenkte Stephan seiner Frau viel Aufmerksamkeit. Es tauchten wohl noch öfters beunruhigende Gedanken in ihm auf, er suchte dieselben aber im Gewühle der Geschäfte zu ersticken. Ein Jahr nach der so sonderbaren Vermählung schenkte ihm seine Frau eine Tochter, die er Rachel nannte. Bald darauf wurde Stephan von seiner Frau und seinen Schwiegerleuten gewaltsam getrennt. Das kam so. Einstens war er im Garten, als plötzlich eine Chineser Räuberbande einfiel und ihn gefangen nahm. Stephan wehrte sich aus allen Kräften. Als der Räuber sah, er sei seinem Gegner nicht gewachsen, wollte er ihn mit einem Säbelhieb niederschmettern. Durch eine geschickte Wendung entging Stephan dem augenscheinlichen Tode und ergab sich freiwillig. Die Chinesen schleppten ihn fort bis an ihre Grenze, da wurden sie von der Armee des Buchorenchanen eingeholt, und die geraubten Leute und die Beute wurden ihnen abgenommen. Stephan kehrte nach Hause zurück. Die Freude seiner Frau und seiner Schwiegereltern war unbeschreiblich. Es wurde ein großes Freudenmahl gehalten. Alle Bekannten waren zugegen und überschütteten Stephan mit herzlichen Glückwünschen.

Einige mal hatten die Jahreszeiten gewechselt, und wiederum stand der Frühling vor der Türe. Überall zeigte sich verjüngtes Leben, nur im Hause Muhammeds herrschte düstere Stimmung. Der Herr hatte seit einigen Wochen das Bett hüten müssen und in letzter Zeit schwanden die Kräfte zusehends. Die letzte Hoffnung auf Wiedergenesung schwand, als Muhammes weder Speise noch Trank mehr zu sich nahm, und der Tod ihm schon aus den Augen schaute.


Weinend saß Stephans Frau an dem Lager ihres Vaters und sah, wie dieser seinen Geist aufgab. Es war gegen zehn Uhr morgens. In Nu waren ein ganz Dutzend Klageweiber versammelt. Diese hatten schon auf das Ende Muhammeds gewartet, weil ihnen eine gute Belohnung für ihre Mühe in Aussicht stand. Die Klageweiber setzten sich platt auf die Erde, senkten den Blick und starrten bewegungslos vor sich her. Wie von einer unsichtbaren Kraft emporgeschneilt, sprangen sie plötzlich auf, und gleich darauf ertönten ohrenzerreißende Fistelstimmen aus dem Sterbezimmer. Sie weinten und schrieten so heftig durcheinander, dass niemand teilnahmslos zuhören konnte. Der Verstorbene wurde in den ausgesuchtesten Ausdrücken gelobt und gepriesen. Es war, als ob alles Gute mit ihm aus der Welt verschwunden gewesen wäre. Die Hausleute trafen in aller Eile die notwendigen Vorbereitungen zur Beerdigung. Gegen Abend desselben Tages setzte sich der Leichenzug in Bewegung, um Muhammed das letzte Trauergeleite zu geben.

Ungefähr fünfzig Knaben gehen dem Zuge voran, den Koran tragend. Ihnen folgten unzählige Erwachsene, Lieder singend und Weihrauch streuend. Die Jammerrufe der Klageweiber übertönen aber jeglichen Gesang und lockten die Stadt herbei. Meereswellen gleich wälzt sich die ungeheure Menschenmenge dem Beerdigungsplatze zu. Hier wird der Leichnam in weiße Leinwand gewickelt und in die vorbereitete Grabkammer ohne Sarg hineingelegt. Der Imam ruft dem Verblichenen nochmals sein „Glaubensbekenntnis“ zu, damit er es ja nicht vergesse, und die Beerdigung ist vollbracht. Gleich beim Grabe erhalten die Klageweiber ihren

Lohn und gehen ihrer Wege. „Wie traurig sieht es doch bei diesen Menschen aus,“ sagt Stephan zu seinem Bruder, „Sie sind nicht getauft, wissen nichts von der heilbringenden Erlösung und glauben an die lächerlichen Fabeln ihres Betrügers, den sie Prophet zu nennen sich nicht scheuen. Ihr unnatürliches Benehmen beim sogenannten Gebet war mir immer zuwider, jetzt ekelt es mich aber, wenn ich nur daran denke. Würde Muhammed heute von mir verlangen, ich sollte seinen „Glauben“, besser gesagt Fabeleien, annehmen, wahrhaftig, ich würde es schön bleiben lassen, und wenn er mich zu Tode martern ließe.“ – „Nun, schlag dir das aus dem Sinne,“ fiel ihm Martin in die Rede, „wir sind jetzt frei und brauchen unserer Religionsübung nichts mehr vergeben.“

Am dritten Tage nach der Beerdigung sprach Muhammeds Frau zu Stephan: „Dem Willen meines Mannes gemäß, dem Allah den ersten Platz im Paradiese einräumen möge, bist du jetzt Herr unseres Vermögens, solange du dein Versprechen hältst, nur hast du mir über alles Rechenschaft abzulegen.“ – „Werde mich auch fürderhin bemühen nur unser Gut zu erhalten, sondern es auch stets zu vermehren,“ erwiderte Stephan und ging an die Arbeit. Vor allem gedachte er seinen armen deutschen Brüder, die als Sklaven bei den Tyrannen ihr armseliges Dasein stifteten. Lange sann er nach, auf welche Weise er ihnen wohl am besten helfen könnte. Sie alle kaufen? Das hätte eine ganze Herde Vieh gekostet. Das Vieh hätte er auch hergegeben, allein er musste doch seine Schwiegermutter und die nächsten Verwandten berücksichtigen, die es ihm sicher sehr übel aufgenommen hätten, wenn er ohne Grund so viele Sklaven gekauft hätte. Da

kam ihm der rettende Gedanke. „Halt,“ dachte er, „du vertauschest Russensklaven auf die deutschen. Gedacht, getan. Alle deutschen Sklaven – es waren deren zwölf – kamen auf diese Weise unter die Botmäßigkeit Stephans, unter ihnen war auch die Frau des Johannes Adam aus Keller.²¹⁾ hier wurde ihnen die beste Behandlung zu teil. Stephan hatte auch den größten Nutzen davon, da er sich vollkommen auf sie verlassen konnte. Die Sklaven wussten aus eigener Erfahrung, wie unmenschlich herzlose Herren mit ihren Dienern umgehen, deshalb fürchteten sie sich, entlassen zu werden, und waren daher sehr pünktlich. Stephan behandelte nicht nur seine Stammgenossen liebevoll, sondern auch alle anderen. Sein Geschäft ging glänzend, als plötzlich ein scheinbar ganz unbedeutender Umstand eine große Veränderung hervorrief.

ines Abends im August 1792 saß Stephan in Gedanken vertieft vor seinem Hause und schaute gegen Westen. Ein in der Ferne erschallender Ruf verscheuchte seine Phantasiegebilde. „Я хочу домой! Я хочу к матери!“ „Ich will nach Hause, ich will zur Mutter!“ schrie weinend eine Russensklavin. „Ich will nach Hause!“ was für einen Eindruck machten diese Worte auf Stephan! „Die Sklavin will nach Hause und kann nicht, ich kann und..., was will nicht? Gewiss. Wie konnte ich nur solange nicht daran denken? Nach Hause! Vielleicht lebt meine Mutter noch. Und die

²¹⁾ Die Namen der anderen sind leider nicht bekannt. Die Russensklaven waren ihrer Körperstärke halber in Chiwa berühmt und wurden für die höchsten Preise gekauft.

Verwandten? Ach, was für eine Freude würde unser Wiedersehen hervorzaubern!“ Stephan stand auf und fing an, im Hofe auf- und abzugehen. Der Gedanke, in die Heimat nach Russland zurückzukehren, bohrte sich immer mehr und mehr in seine Seele. Alle Luft, noch länger in der Fremde zu verweilen, schwand aus seinem Gemüte. In seinem Geiste tauchten die kleinen hölzernen Häuschen in der schönen Wiese an der Wolga auf. Es war ihm, als sähe er die Seelmänner sich versammeln, um sich mit ihm lustig zu unterhalten. Sein Herz fing an, stark zu klopfen. Heimat! „Ja in die Heimat muss ich zurück, mag es kommen, wie es wolle,“ sprach Heindel zu sich selber. „Morgen werde ich mit Martin den Plan näher besprechen. Noch diesen Monat reisen wir ab.“ Er legte sich zur Ruhe, konnte aber kein Auge schließen. Gegen Morgen überkam ihn ein kleiner Schlummer, doch auch da träumte er nur von der Heimat. „Stephan!“ sprach Martin beim Frühstück, „du hast doch wieder etwas vor.“ – „Ja, und zwar etwas sehr Wichtiges. Mir schmeckt kein Essen. Komm, ich muss dir erst meinen Plan mitteilen.“ Sie gingen abseits, und Stephan enthüllte seinen Plan. Dieser wurde nach allen Seiten besprochen, bis er im einzelnen festgestellt war. Stephan, stets gewöhnt, nach dem Entschluss rasch zu handeln, ging zu seiner Frau und seiner Schwiegermutter und legte ihnen seinen Plan vor. „Würden wir,“ setzte er den Frauen auseinander, „mit Waren nach Persien fahren, so wäre uns ein reichlicher Gewinn ganz sicher. Ich gedenke also mehrere Kamele mit Waren zu beladen und dorthin zu ziehen, was meint ihr dazu?“ – „Tue, wie du willst,“ lautete der Bescheid der Schwiegermutter, „du wirst schon wissen, ob das

Unternehmen vorteilhaft ist oder nicht.“ Stephan traf noch an demselben Tage seine Verordnungen zur Reise. Elf Kamele wurden mit allerlei Waren beladen, und je ein Knecht sollte eins führen. Das zwölfte war für die Frau des Johannes Adam aus Keller bestimmt, denn diese nahm Stephan als Köchin mit sich. Für sich und seinen Bruder ließ Stephan zwei Pferde satteln. Die elf Knechte waren die elf deutschen Sklaven. Am Abend des nächsten Tages war alles bereit. Bei Tagesgrauen nahm Stephan Abschied von seiner Frau und Schwiegermutter, und die Karawane setzte sich in Bewegung. Stephan, Martin, die „Köchin“ und elf Knechte, in allem also 14 Mann nebst 12 Kamelen und 2 Pferden.

Der Ritt durch die Wüste ging glücklich vonstatten. Sie kamen bald darauf an einen großen Wald. Da niemand von ihnen den Weg hindurch wusste, so mieteten sie einen dortigen Perser, dem alle Wege im Walde gut bekannt waren. Acht Tage hatten sie zu reisen, bis sie wieder auf freies Land kamen. Der Durchgang hatte ihnen aber keine Schwierigkeiten bereitet, da die Lichtung groß genug war, um mit den Kamelen frei passieren zu können. Sie stießen auf wilde Ziegen, erlegten eine und ließen sich den Braten gut schmecken. Stephan hatte dem Führer im geheimen mitgeteilt, dass er nicht nach Persien, sondern an das Kaspische Meer wolle, deshalb ließen sie Persien links liegen und wandten sich rechts. In der Ferne tauchten Ruinen auf. Als sie näher kamen, erkannte Stephan nur zu deutlich, dass da jemals eine Stadt gewesen sei müsse. Die eingestürzten Häuser und Moscheen ließen darüber keinen Zweifel übrig. Er fragte den Perser, wer wohl die Stadt zerstört habe. Dieser gab den gewünschten

Aufschluss. „Wisse,“ begann er „die Stadt hat weder ein Eroberer noch ein Räuber zerstört, sondern ihre Einwohner selbst.“ – „Na, das ist doch nicht möglich,“ fiel Stephan in die Rede, „warum sollten die Einwohner ihre eigene Stadt zerstören?“ – „So habe doch nur Geduld, ich werde dir schon angeben, wie das gekommen ist,“ erwiderte der Perser. „Außer diesen Ruinen werden wir die Trümmer von noch sechs Städten treffen. Der Grund ihrer Zerstörung ist derselbe. Vor etwa dreihundert Jahren schlängelte sich in jener Ebene dort ein herrlicher Fluss. Es war der Amu-Darja. Weil du ja in Chiwa gewohnt hast, so ist dir dieser Fluss gut gekannt. Er ergießt sich heute in den Aralsee, damals aber mündete er in das Kaspische Meer.²²⁾ Wie Chiwa all seine Fruchtbarkeit dem Amu-Darja verdankt, so war der Fluss auch für diese Gegend in jener Zeit die Lebensquelle für ihre Bewohner. Sieben Städte hatten sich hier angesiedelt. Wahrscheinlich haben diese einmal mit dem Schah von Persien in Feindschaft gelebt, und er hat sie verderben wollen. Wie hat er das getan? Er lies einen Damm quer über den Fluss schütten und leitete ihn so in den Aralsee, weil dort eine Ebene ist, die als Flussbett dienen musste. Da nun die Bewohner dieser Gegend ohne Wasser blieben, so mussten sie ihre Wohnsitze aufgeben.“ – „Warum?“ fragte Stephan, „sie hätten ja Brunnen graben können?“ – „Das haben sie auch getan. Das Wasser liegt auch gar nicht tief, allein es ist dasselbe Wasser wie im Meere, d.h. so salzig, dass es weder Menschen noch

²²⁾ Heutzutage besteht das Projekt, den Amu-Darja wieder in sein altes Bett zu leiten. Ein Ingenieur hat bereits die Voruntersuchungen gemacht. Das Gebiet gehört bekanntlich Russland.

Tiere trinken können. Darum habe ich dir gesagt, du solltest Trinkwasser mitnehmen, sonst wären wir alle verschmachtet, wie sehr viele Einwohner aus diesen sieben Städten.“ Dass der Perser betreffs des Wasser die Wahrheit gesprochen, mussten die Reisenden bald erfahren. Der Ritt wurde immer schwieriger, und es dauerte noch volle acht Tage. Ohne Trinkwasser wären sie gewiss umgekommen. Ein allgemeiner Freudenruf erscholl, als sie die Hafenstadt am Kaspischen Meere erblickten. „Jetzt ist’s gewonnen, Bruder,“ sage Stephan zu den Deutschen! Sogleich zahlte er dem Perser den Führerlohn aus, verkaufte die Kamele und Pferde, lud die Waren ins Schiff und segelte nach Astrachan ab. Hier kam er glücklich an, mietete ein Haus und begann zu handeln. Da es schon spät im Herbst war, so konnten die Deutschen vor dem Eintritt des Winters nicht nach Hause (Seelmann usw.) zurückkehren. Sich hier und da Arbeit suchend, erwarteten sie mit Sehnsucht den Frühling. Bei der ersten Möglichkeit zogen sie in ihre Heimat. Stephan und Martin blieben in Astrachen bis zum nächsten Herbst (1793). Sie wollten zuerst alle ihre Waren losschlagen, damit die Reise auf der Wolga bequemer sei. Der Gewinn war sehr befriedigend ausgefallen, deshalb wollte Stephan nach Saratow, um dort den Handel fortzusetzen. Den Beutel voll Geld und die Brust voll Freude über das bevorstehende Wiedersehen, zogen sie die Wolga hinauf. In Seelmann kamen sie gegen Mitternacht an. Sie erkundigten sich vor allem nach ihrer Mutter – sie war bereits tot. Die Ankunft Stephans war ein Jubeltag in Seelmann. Alt und jung, groß und klein drängte sich um ihn, um aus seinem Munde zu vernehmen, was die Mitgefangenen bereits in den

verschiedensten Schattierungen erzählt hatten. „Seid uns willkommen! Wie ein zweiter Tobias habt ihr Eure Mitbrüder in der Gefangenschaft behandelt. Gott möge Euch dafür lohnen! Es lebe Stephan Heindel! Er lebe hoch! hoch!“ Am dritten Tage nach seiner Ankunft äußerte sich Stephan in einer Gesellschaft, er wollte auch Keller und Leitsing besuchen. „Was? Keller und Leitsing?“ riefen die Umstehenden. „Da kommt Ihr zu spät.“ – „Weshalb?“ fragte Stephan. „Schon vor drei Jahren, - vor fünf!“ rief ein anderer, - „ja, recht, schon vor fünf Jahren (anno 1788) sind die beiden Dörfer in eine Kolonie zusammengezogen und zwar auf einen anderen Platze, 20 Werst von Seelmann. Ihrem Dorfe haben sie den Namen „Neu-Kolonie“ gegeben. Ihr wisst, dass die Kirgisen aus Keller und Leitsing viele Leut geraubt haben. Zudem waren noch einige Familien ausgestorben, so dass nur 44 Familien übrig geblieben waren, und diese wohnen jetzt in Neu-Kolonie. Von Keller und Leitsing sind nur noch Trümmer geblieben, die den Nachkommen zum Andenken an die Leiden ihrer Voreltern dienen können.“ – „Ja,“ seufzte Stephan, „unsere Nachkommen dürfen nie vergessen, was wir hier haben leiden müssen.“ Nach kurzem Aufenthalt in Seelmann ging Stephan nach Saratow. In Lauwe besuchte er seine Schwester und wurde selbstverständlich auch dort der gefeierteste Mann des Tages. In Saratow angekommen, suchte Stephan seinen Handel gleich ins Fließen zu bringen, wobei ihm Martin helfend zur Seite stand. Hier war ein Schneider aus Brabander (Kasitzkaja), Namens Johannes Meringer. Von ihm heißt es im Stammbuch, das heute noch im Pfarrarchiv zu Kasitzkaja vorhanden ist: Johannes Meringer stammt „aus

Österreich aus dem Ringauischen im Chur Mayntzer landt, Katholischer Religion, Profession ein schneider, frau Anna-Maria Vom Romtzberck aus dem Ringauischen, Katholischer Religion, Tochter Kath. Elisabetha gebürtig aus Wormsheim aus dem Bimger Landt im stüfft Olvanus getauft katholisch.“ Stephan besuchte ihn öfters. Doch bald galt der Besuch nicht so sehr dem Meringer als dessen schönen Tochter Katharina. Zwei Herzen hatten sich gefunden. Stephan und Katharina traten immer näher zu einander, und die Ehe galt bald unter ihnen als abgeschlossene Sache. Die Eltern der Katharina hatten nichts dagegen einzuwenden, vielmehr war ihnen der Antrag Stephans herzlich recht. Und so feierte Stephan Heindel mit Katharina Meringer mit großem Pomp seine Hochzeit in Saratow anno 1793.

Nach der Hochzeit handelte Stephan nicht mehr lange in Saratow. Er kaufte Waren ein, die auf den Kolonien guten Absatz fanden, und zog nach Brabender (Kasitzkaja). Martin ging mit und heiratete in Brabander die Anna-Maria Drensler. Ihr einziges Kind, ein Sohn, wurde am 12. Januar 1803 geboren und am 14. des Monats von P. Nowicki auf den Namen Johannes getauft. Stephans Schwiegervater Johannes Meringer starb bald darauf eines plötzlichen Todes. Die Schwiegermutter reichte zum zweitenmal ihre Hand dem reichen Jonas Bersch aus Mariental, wohin sie auch ihren einzigen Sohn Heinrich mitnahm.

Stephan wandte alle Mühe an, um seinen Handel in Schwung zu bringen, doch alles war vergebens. Der Gewinn wurde tagtäglich geringer und schließlich waren die Bude und die Kasse leer. Stephan kam in große Verlegenheit. Was anfangen? Sich mit Ackerbau beschäftigen? Dazu hatte er weder die notwendigen Haustiere, noch die unentbehrlichen Geräte. Als Knecht sich vermieten? Dazu rechnete er sich zu alt: 47 Jahre trug er ja auf dem Buckel. Er überlegte alles hin und her und konnte keinen rechten Ausweg finden. Endlich glaubte er den Rettungsfaden gefunden zu haben. Rund vor hundert Jahren anno 1799, sprach Stephan eines Morgens zu seiner lieben Katharina: „Wie unsere Familie immer größer wird, so nimmt auch die Not fortwährend zu. Da ist guter Rat teuer. Ich muss da zum äußersten greifen. In Astrachen ist mir ein Armenier noch tausend Rubel schuldig. Dieses Geld muss ich holen, dann können wir uns wieder auf die Beine helfen.“ Der Frau kam das zwar etwas sonderbar vor, weil Stephan nie von dem Gelde ein Wörtchen hatte fallen lassen, doch war sie dessen überaus froh. Schnell hatte sie für ihren Mann ein kleines Reisebündel geschnürt, und fort ging dieser an die Wolga, um mit Gelegenheit nach Aschtarchan (Astrachan) stromabwärts zu segeln.

Das Glück war ihm günstig. Er traf einige Tataren, die ebenfalls nach der ehemaligen Stadt des Chanen Aschtar segelten, und da Stephan sich vortrefflich mit ihnen unterhalten konnte, so war er ein angenehmer Reisegefährte. Wenn er bei Erzählung seiner Abenteuer manchmal über die Schnur schlug, so war das ja nach dem Geschmacke der Orientalen.

Ohne Zwischenfall erreichte Stephan Astrachen. Aber wo war der Armenier mit den 1000 Rubel Schulden? Der hatte eben niemals existiert. Stephan hat seiner Frau tüchtig die Augen voll geschmiert. Er hatte mit seiner Reise nach Astrachan ganz andere Gedanken verfolgt. Ohne lange zu zögern, ging er von Astrachan nach Chiwa zurück. Dieses Unternehmen schien zwar etwas gefährlich, doch dem Kühnen steht das Glück bei. Unterwegs überlegte Stephan, wie er bei Nia (seiner „Frau“) und ihrer Mutter sich blank stellen könne. Als Tatar verkleidet, erreichte er ohne Abenteuer seinen früheren Wohnort. Vor der Stadt setzte er sich nieder und überdachte nochmals seine Ausrede bis ins Einzelne, um ja nicht zu straucheln. Dann ging er in die Stadt und schlich sich in seine frühere Wohnung. Nia und Rachel, seine Tochter, waren gerade im Hof beschäftigt und merkten nicht, wie Stephan hinter der Haustüre verschwand. Als sie darauf beide ins Zimmer traten und Stephan da sitzen sahen, stießen sie einen Schreckensruf aus und eilten davon. Als aber Stephan die Worte Nia, Rachel ihnen zurief, da verwandelte sich die Furcht in Freude. Beide Frauen stürzten zu ihm und konnten vor Aufregung im ersten Augenblicke keine Worte finden. Nach einer Weile sprach Stephan: „Ich habe Hunger. Habt ihr keinen Kaffee bereit?“ – „Ja, gleich.“ Das Lieblingsgetränk wurde aufgetragen, und nun musste Stephan ausführlich berichten, wo er so lange gewesen sei. „O ihr meine Lieben!“ begann er, „mir ist es sehr schlecht gegangen. Auf der Reise nach Persien mussten wir durch einen großen Wald. Da überfielen uns Räuber und schleppten uns mit sich fort. Die Waren und die Knechte haben sie unter sich verteilt.

Mich erkannten sie als den Herrn der Karawane und deshalb wurde ich am strengsten behandelt. Mein Herr hielt mich immer in einer Semljanka eingeschlossen. Nicht ein einziges Mal habe ich in diesen sieben Jahren mein Gefängnis verlassen können. Einmal war mein Herr bei mir, um nachzusehen, ob ich auch fest genug gebunden sei. Als er nun fortging, vergaß er sein Beil. Das war mein Glück. Ich zerschnitt daran zuerst die Fesseln meiner Hände, dann auch die meiner Füße, schlug die Tür ein und ging durch. Allah hat es gewollte, dass ich wieder bei euch bin, ihm sei Dank dafür!“ – „Allah kerim!“ riefen die Frauen, und fanden nicht Worte genug, um ihrer Freude Luft zu machen. Bald darauf trat ein Mann ins Zimmer. Rachel blieb unverschleiert. Stephan blickte sie an. „Ich weiß, was du meinst, Papa, sagte Rachel, „das ist mein Mann, den Allah zu seinem ersten Liebling gemacht hat.“ – „Richtig! Wünsche recht viel Glück. Aber wo ist dann die Schwiegermutter?“ – „Die hat Allah bereits zu sich genommen. Schade, dass sie sich nicht über deine Ankunft mit uns freuen kann. Die Waren, die Knechte und die Kamele wollen wir gerne verschmerzen. Dank dem Allah, dass er uns wieder dein Angesicht gezeigt hat!“

Es kam nicht selten vor, dass Karawanen von Räubern überfallen und ausgeplündert wurden, deshalb nahmen die Frauen Stephans Erzählung als bare Münzen an und hegten nicht den geringsten Zweifel, es könnte daran etwas faul sein. Stephan zeigte wieder den größten Eifer in der Geschäftsführung. Der Handel warf wieder gute Zinsen ab. So vergingen vier Jahre. Stephan bekam wieder Heimweh. Er zerbrach sich den Kopf, wie er es anzustellen habe, um nicht

mit leerem Beutel fort zu müssen. An einem schönen Frühlingsmorgen des Jahres 1804 saßen Stephan, Nia und Rachel im Garten unter einem Maulbeerbaume. Stephan lenkte das Gespräch auf den Handel. „Was meint ihr wohl,“ sprach er ungezwungen, „wir könnten doch unsere Kasse füllen, wenn wir Seidenstoff nach Orenburg bringen würden. Seid ihr damit einverstanden, so reise ich mit einigen Knechten ab?“ – „Wir haben nichts dagegen,“ sagten Frauen, „Nur nimm dich in acht, dass du nicht wieder ausgeplündert wirst.“ – „Na, das wird nicht mehr geschehen,“ erwiderte Stephan froh, „Erfahrung macht klug.“ Es kostete ihm Mühe, die innere Aufregung über diesen gelungenen Kniff zu verbergen, um sich nicht zu verdächtigen. Zwei Tage darnach verabschiedete sich Stephan und zog mit drei Knechten und mit fünf schwer beladenen Kamelen nach Orenburg. Sobald er hier angekommen war, schickte er die Knechte nach Hause zurück und ließ seiner Frau sagen, er werde da die Waren verkaufen und dann ebenfalls heimkehren. Kaum aber waren die Knechte fort, so mietete er sich russische Fuhrleute und zog nach Brabander (Kasitzkaja). Die Tatarenkleider hatte er mit russischen vertauscht und wurde so in Brabander gleich erkannt. Die Wes Anmarie lief schnell zu Stephans Frau und rief ihr zu: „Katrin, dein Stephan ist da!“ Das war für die arme Frau zuviel. Sie fiel um wie ein Sandsack. Im Handumdrehen war beinahe ganz Brabander versammelt. „Der Vetter Stephan ist da und hat viel Ware mitgebracht,“ pflanzte es sich fort von Mund zu Mund. Stephan galt wieder allgemein als ein reicher Mann.

Drei Jahre blieb Stephan in Brabander, dann (im Frühlinge 1807) übersiedelte er nach Seelman. Hier kaufte er sich Haus und Hof von Tobias Fromm. Doch „ungerecht Gut gedeiht nicht,“ das musste Stephan an sich erfahren. Was er auch nicht angriff, wie er es auch nicht anstellte, nichts wollte gelingen. Stephan Heindel verarmte abermals. Um nicht vor Hunger zu sterben, ging er jeden Tag an die Wolga fischen. Eines Abends kehrte er nicht nach Hause zurück. Seine Frau schickte zuerst sie Kinder an die Wolga, um nachzusehen; als die aber unverrichteter Sache nach Hause kamen, trieb die Angst sie selber dorthin. Sie rief aus vollem Halse: „Stephan! Stephan!“ allein keine Antwort. Weinend hin- und hergehend, bemerkte sie, wie da ein Stück vom Ufer frisch abgefallen war. Wie ein Blitzstrahl fuhr ihr der Gedanke durch den Kopf: „Hier hat Stephan gesessen, ist abgerutscht und ertrunken.“ Weinend springt sie ins Dorf und ruft um Hilfe. Ein paar Burschen durchsuchten mit langen Haken die ganze Stelle, doch keine Spur. Die Frau beweint ihren Mann, und die sieben Kinder bejammern ihren ertrunkenen Vater.

Und Stephan... lebt und ist frisch und gesund, während Frau und Kinder ihn als tot beweinen. Als er da angelte, sieht er Schiffsmatrosen die Wolga herabfahren kommen. Er winkt ihnen, sie fahren an und nehmen ihn mit nach Astrachan. Zum zweitenmal ging Stephan nach Chiwa! Hier wurden jedoch keine Freudentränen mehr über seine Ankunft geweint. Rachel konnte zwar auch diesmal vor lauter Aufregung nicht gleich mit ihm sprechen, allein ihre Tränen waren vom tiefsten

Schmerze erpresst. „Ach Vater! Ach Vater! Was habt Ihr getan, dass ihr mit der Ware durchgegangen seid? Die Mutter hat sich so darüber gekränkt, dass sie gestorben ist. Zweimal habt Ihr uns betrogen und uns fast um das halbe Vermögen gebracht. Ach, Vater, gesteht es nur, Ihr habt auch in Russland Frau und Kinder, sonst wäret Ihr mit der Ware nicht durchgegangen. Allah sei Euch gnädig, Vater, was habt Ihr getan! Haben wir das verdient? Haben wir Euch nicht gut behandelt? Was hat Euch bei uns gefehlt? Wart Ihr nicht Herr über alles? Wurde Euch nicht das ganze Vermögen anvertraut? Wer hat je einen Sklaven zum Oberaufseher gemacht und das ganze Geschäft in seine Hände gelegt? Ach Vater, Vater, welch große Schuld habt Ihr Euch zugezogen? Doch Ihr seid und bleibt mein Vater. Ich will Euch alles verzeihen. Ihr sollt es so gut haben wie früher, nur Herr über das Geschäft seid Ihr nicht mehr.“ Stephans Herz schien in diesem Augenblicke von Stein zu sein. Die bitteren Tränen seiner Tochter rührten ihn nicht im geringsten. „Was?“ sagte er kalt, „Ich soll nicht mehr Herr sein?“ – „Nein, Vater, Herr könnt Ihr nicht mehr sein, sonst kommen wir um unser Vermögen. Essen und Trinken, Kleider und Wohnung sollt Ihr haben, so viel Ihr braucht, aber Herr dürft Ihr nicht mehr sein.“ – „Nun gut, wenn ich nicht mehr Herr sein darf, dann bleib ich auch nicht hier.“ – „Ach, Vater, bleib doch! Ihr seid mir lieb und teuer.“ – „Wenn ich Herr über alles bin, dann ja, sonst unter keiner Bedingung.“ – „O liebster Vater! Ihr verlangt Unmögliches. Herr könnt ihr nicht mehr sein, aber gut sollt Ihr es haben, wie nirgends auf der Welt.“ – „So bleib ich nicht,“ sprach Stephan barsch, drehte sich um und ging

davon. Rachel lief ihm weinend nach, warf sich ihm vor die Füße, flehte in herzerreißendem Tone, Stephan blieb hartnäckig. Sieben Werst war Rachel weinend und bittend mitgegangen, allein vergebens. Als sie die Fruchtlosigkeit ihrer Mühen endlich einsah, schob sie ihm einen Beutel mit Geld in die Hände und kehrte um.

Stephan war durch die Anhänglichkeit seiner Tochter gerührt. Er ging einige Schritte, blieb stehen, schaute sich nach Rachel um. Sollte er wirklich nicht bei ihr bleiben? Er habe ihr doch Unrecht zugefügt, dass er schon zweimal das Zutrauen so schnöde missbraucht habe. Diesem Gedanken folgte gleich ein anderer. In Chiwa bleiben und nicht mehr Herr über das ganze Vermögen sein, das war seinem Eigendünkel zuwider. Er warf Rachel den letzten Blick nach und ging seines Weges. Sie haben sich nie mehr gesehen.

Ein Jahr war vergangen seit jenem verhängnisvollen Morgen, wo Stephan vom Angeln nicht mehr nach Hause gekommen war. Stepphans Frau hatte unzählige Tränen für ihren tot geglaubten Gatten vergossen. Eines Abends stand sie am Fenster und schaute auf die Strasse hinaus. Jemand huschte am Fenster vorbei und ging nach der Haustür. Sie wollte nachsehen, wer das wäre und begegnet ... Stephan. Aus allen Ecken kamen die Kinder herbeigelaufen und äußerten durch Zurufen ihre Freude über die Ankunft ihres Vaters. Erst musste Stephan seiner Frau ein ganzes Dutzend Fragen beantworten, und dann wurde ihm ein Zubiss aufgetragen. Als Stephan die Erzählung seines Abenteuers beendet hatte, zog er einen Beutel aus der Tasche und sprach: „Umsonst war

die Reise doch nicht. Die Reiseausgaben abgerechnet, habe ich noch hundert Rubel übrig behalten.“

Stephan versuchte es nochmals mit der Bauerei, hatte aber entschieden kein Glück. „Ungerecht Gut gedeihet nicht“ dachte er, „ich muss meine Fehler gutmachen.“ Das Gewissen ließ ihm keine Ruhe mehr. Wo er nicht war, was er nicht tat, überall erinnerte er sich unwillkürlich an seine Unredlichkeit. „Katharina, wie heißt doch der Jesuitenpater in Saratow, von dem du mir so vieles erzählt hast?“ fragte er seine Frau. „Ach, der gute Pater. Na der heißt Alois von Landes.“ „Weißt du was,“ fuhr Stephan fort, „ich gehe nach Saratow, um mich mit ihm zu beraten, wie ich meine Ungerechtigkeiten gutmachen könne.“ – „Das ist schon gut,“ bemerkte die Frau, „aber ich will hoffen, dass es dir damit auch ernst ist. Du wirst doch nicht wieder durchgehen wollen?“ – „Gewiss nicht, Frau, das kannst du mir glauben. Ich habe keine Ruhe mehr. So kann es nicht fortgehen. Dass mir alles misslungen ist, sehe ich an als einen Fingerzeig Gottes, der mich wieder auf den richtigen Weg bringen will. Warum war ich nur so töricht und streckte meine Hand nach fremden Gut aus!“ Stephan führte sein Vorhaben aus. In Saratow traf er aber nicht mehr P. Alois von Landes,²³⁾ sondern dessen Nachfolger, den Jesuitenpater Johannes Mayer. Stephan erzählte ihm haarklein alle seine Erlebnisse und fragte dann, ob wohl alles ungerechtes Gut sei, was er von Muhammed genommen hatte. P. Mayer setzte ihm

²³⁾ P. Aloisius von Landes, der erste Pfarrer in Saratow, vom 13. Nov. 1803 bis zum 10. April 1809. Dessen Nachfolger P. Johannes Mayer von 29. April 1809 bis zum 25. März 1820. Über ersteren sammle ich Notizen und bitte jeden, der über ihn etwas weiß, mir es gültigst mitteilen zu wollen.

darauf auseinander, dass jeder Arbeiter seines Lohnes Wert sei. Der Kirgise habe ihn geraubt und verkauft. Muhammed habe mehrere Jahre die Dienste Stephans ausgebeutet, wofür Stephan ein Recht habe, eine entsprechende Vergeltung zu verlangen. So viel wie er verdient habe, so viel hätte er auch nehmen können, freilich auf eine andere Weise. Er hätte aber zu viel genommen, und das müsste er von Rechts wegen zurückerstatten. Allein es scheine, seine Tochter und ihr Mann haben ihm alles verziehen, sonst hätten sie ihn wohl nicht so ungeschoren ziehen lassen. Buße dafür tun. „Wie steht es aber mit meiner Ehe?“ fragte Stephan darauf. „Ihre erste Ehe mit Nia,“ erklärte der Pater, „war ungültig, weil die ja nicht getauft war. Daraus folgt, dass ihre Ehe mit Katharina Meringer gültig ist und ihre Kinder ehelich sind. Freilich begingen sie eine schwere Sünde, als Sie die zweite Ehe schlossen, ohne von der ersten etwas zu sagen; denn wenn auch eine Ehe ungültig ist, so muss die Ungültigkeit erst vom kirchlichen Richter ausgesprochen werden, bevor eine andere geschlossen werden darf. Dieses Verbrechen müssen Sie auch durch Buße sühnen. Bereiten Sie sich zu einer Generalbeicht vor.“ Das tat Stephan und beichte so zerknirscht, wie noch nie in seinem Leben. Das Gleichgewicht in seinem Innern war nun wieder hergestellt. Er ging nach Hause und ertrug zeitlebens seine Armut und alle Sorgen mit der größten Geduld als Buße für seine früheren Vergehen.

1833 starb Stephans Frau im Alter von 56 Jahren. Heindels Kräfte waren auch zusammengeschrumpft. Er fristete seine letzten Lebenstage bei seinen Kindern, die er stets zum Guten anhielt. Gegen Ende März des Jahres 1840 fühlte

er, wie es mit Riesenschritten bergab gehe, deshalb rief er alle seine Kinder²⁴⁾ zu sich, um an sie seine Abschiedsworte zu richten. Es kamen aber auch sehr viele Männer und Frauen aus der Nachbarschaft zu ihm. Stephan setzte sich im Bette und begann seine Ermahnungsworte. Ein jeder möge bei all seinem Tun und Lassen Gott stets vor Augen haben und nach dessen Geboten handeln, fortwährend an den Tod und das Gericht denkend. Das war der Inhalt seiner eine halbe Stunde dauernden Rede. Darauf schloss er: „Liebe Kinder! Teuere Freunde! Brüder und Schwestern! Betrachtet meine grauen Haare! Sorgen und Kümernisse haben sie gebleicht. Zwölf Jahre zähle ich, (Geboren 1752) als meine seligen Eltern mit mir nach Russland zogen. Ich kann mich deshalb an alle Einzelheiten erinnern, wie es den Ansiedlern, uns, euren Vorfahren, ergangen ist. Vergesst nie, was wir haben ausstehen müssen! Wir kamen in diese Gegend, sie war wild und unbewohnt. Wir suchten sie zu bebauen, hatten dabei aber mit unsäglichen Schwierigkeiten zu kämpfen. In Hütten haben wir gewohnt, Hunger und Frost ausgestanden. Und als wir unter großen Anstrengungen und mit Kronsschulden beladen den Anfang gemacht zu haben glaubten, da fiel das wilde Kirgisenvolk über uns her und

²⁴⁾ Stephan Heindel hat mit Katharina Meringer zwölf Kinder gezeugt: sechs Söhne und sechs Töchter. Nämlich: 1. Georg, geboren 1794. 2. Anns-Maria, geb. 1896. 3. Johannes, geb. 1799. 4. Anna-Maria, geb. 1801? 5. Susanna, geb. 1806. 6. Elisabeth, geb. 1810. 7. Kunigundis, geb. 1812. 8. Nikolaus, geb. 1814. 9. Peter, geb. 1816. 10. Peter, geb. 1818. 11. Johannes, geb.? 12. Anna geb.? Heute lebt in Seelmann noch eine Enkelin des Stephans Heindel, die Tochter seines Sohnes Peter (10), welche mit großem Interesse die Erlebnisse ihres Großvaters gelesen hat.

schleppte Tausende von uns in die Sklaverei. Männer und Jünglinge wurden umgebracht, Frauen und Töchter geschändet. Kinder zu Dutzenden erstochen und aufs Feld den Tieren zum Fraße vorgeworfen. O, es klingt in meinen Ohre, als ob ich heute noch das Jammern und Weinen dieser Unschuldigen Opfer hören würde! Alle Bande der Liebe und Freundschaft wurden zerrissen. Die Frau von ihrem Manne getrennt, die Tochter der Mutter aus den Armen gerissen, der Sohn vom Vater fortgetrieben. Hab und Gut zusammengerafft und fortgeschleppt. Geplündert wurden unsere Wohnungen, unsere Ställe geleert. Menschen und Vieh wurden gewaltsam fortgetrieben. Scheiden mussten wir von unseren Lieben, verlassen unsere neue Heimat, die wir großer Hoffnungen wegen gewählt hatten. Wir mussten einem Volke dienen, das für alles anderes Gefühle hat, nur nicht für seine Sklaven. Unzählig sind die Schläge, die wir empfunden, unbeschreiblich das Weh, welches Hunger und lieblose Behandlung uns zugefügt. Mit zitternden Händen lasen wir die von unseren Peinigern benagten und weggeworfenen Knochen auf, um die Forderung der Natur wenigstens einigermaßen zu befriedigen. Unser Weinen konnte die Tyrannen nicht erweichen, unser Flehen hat sie nicht gerührt. Wie die Stimme eines Rufenden in der Wüste war unser Wehklagen in Chiwa, Kokan, Buchara und in der Umgegend. Unsere Menschenwürde hat man entehrt, unsere Rechte mit Füßen getreten. Entblößt standen wir auf dem Sklavenmarkte und wurden verkauft wie das Vieh. Unsere Glieder krachen unter der Marter, unsere Sinnen unterlagen den Schmerzen. Wir riefen um Hilfe, aber niemand hörte uns, wir streckten

unsere Hände nach einem Retter aus, aber vergebens. O vergesst nie, was eure Vorfahren gelitten haben, um in diesem Lande festen Fuß zu fassen! Das Land, das ihr jetzt bebaut, wir haben es getränkt mit unseren Tränen. Das Land, das euch jetzt nährt, es ist gerötet von unserem Blut. Das Land, das die Quelle eures Wohlergehens ist, es war für uns der Anfang des Martyriums. O ihr Ruinen von Keller und Leitsing! Ihr sprecht deutlicher als alle Worte, welchen Unmenschen wir in die Hände fielen. Vergesst dies nie, Kinder! **Vergesst dies nie! Erzählt es euren Kindern. Präget es ihnen ein, damit sie es wiederum ihrer Nachkommenschaft überliefern!**“

Hier stockte die Stimme Stephans. Tränen rollten über seine Wangen. Von den Anwesenden hatten die meisten schon ihre Augen ausgewischt, jetzt brachen alle in lautes Schluchzen aus. Einer nach dem anderen verließ das Zimmer und suchte einen Winkel auf, um seinen Tränen dort ungestört freien Lauf zu lassen. Stephan bat, man möge ihn allein lassen. Er bereitete sich auf sein letztes Stündlein vor und ließ den Pater rufen. P. Milewsky kam mit dem Allerheiligsten. Stephan beichtete mit großer Reue und empfing mit beispielsvoller Andacht die hl. Wegzehrung, die letzte Ölung und den Sterbeablass. Am nächsten Tage, am Vorabend des Festes der sieben Schmerzen Mariä, den 4. April 1840, besuchte P. Milewsky den Kranken. Mit diesem Stand es sehr schlimm. Der Pater betete ihm die drei göttlichen Tugenden und andere Gebete vor, die er mit inniger Rührung nachsprach. Die Sterbekerze wurde angezündet, und der Pater begann Stephans Seele der Barmherzigkeit Gottes zu

empfehlen. „Herr, in deine Hände empfehle ich meinen Geist,“ sprach Stephan und gab seinen Geist auf. „Herr, gib ihm die ewige Ruhe,“ betete der Pater, und die Umstehenden antworteten: „Und das ewige Licht leuchte ihm! Amen.“

ЛИТЕРАТУРНЫЙ СБОРНИК

РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ

Выпуск 1

2009

Выпуск подготовили А. Шпак, А. Идт
Консультант В. Дизендорф

Электронное издание
Интернет-ресурс "Die Geschichte der Wolgadeutschen"
E-mail: sakut@mail.ru
<http://www.wolgadeutsche.net/>

